

Белла Ахмадулина

Ночь
упаданья яблок

Белла
Ахмадулина

Ночь упаданья яблок

БЕЛА АХМАДУЛЛИНА

Ночь упадания яблок



АСТРЕЛЬ
Москва

УДК 821.161.1-1
ББК 83(2Рос=Рус)6-5
А95

Ахмадулина, Б.А.

А95 Ночь упадания яблок / Белла Ахмадулина. — М.: Олимп, Астрель, 2010. — 511, [1] с.

ISBN 978-5-7390-2327-8 (ООО «Агентство «КРПА Олимп»)

ISBN 978-5-271-26750-5 (ООО «Издательство Астрель»)

Творчество Беллы Ахмадулиной стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности.

Интерес к ее поэзии с годами не ослабевает, и уже сейчас очевидно, что она — один из крупнейших русскоязычных поэтов конца XX — начала XXI столетия.

Во вторую книгу трехтомника Беллы Ахмадулиной вошли стихотворения разных лет, такие поэмы, как «Недуг», «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза» и «Наслаждения в Куоккале», поэтические посвящения Николаю Гумилеву, Василию Аксенову, Владимиру Высоцкому, а также прозаические произведения.

УДК 821.161.1-1
ББК 83(2Рос=Рус)6-5

ПОЭЗИЯ

САД

Василию Аксенову

Я вышла в сад, но глушь и роскошь
живут не здесь, а в слове: «сад».
Оно красою роз возросших
питает слух, и нюх, и взгляд.

Просторней слово, чем окрестность:
в нём хорошо и вольно, в нём
сиротство саженцев окрепших
усыновляет чернозём.

Рассада неизвестных новшеств,
о, слово «сад» — как садовод,
под блеск и лязг садовых ножниц
ты длишь и множишь свой приплод.

Вместилась в твой объём свободный
усадьба и судьба семьи,
которой нет, и той садовой
потёрто-белый цвет скамьи.

Ты плодороднее, чем почва,
ты кормишь корни чуждых крон,
ты — дуб, дупло, Дубровский, почта
сердец и слов: любовь и кровь.

Твоя тенистая чащоба
всегда темна, но пред жарой
зачем потупился смущенно
влюблённый зонтик кружевной?

Не я ль, искатель ручки вялой,
колено гравием красню?
Садовник нищий и развязный,
чего ищу, к чему клоню?

И, если вышла, то куда я
всё ж вышла? Май, а грязь прочна.
Я вышла в пустошь захуданья
и в ней прочла, что жизнь прошла.

Прошла! Куда она спешила?
Лишь губ пригубила немых
сухую муку, сообщила,
что всё — навеки, я — на миг.

На миг, где ни себя, ни сада
я не успела разглядеть.
«Я вышла в сад», — я написала.
Я написала? Значит есть

хоть что-нибудь? Да, есть, и дивно,
что выход в сад — не ход, не шаг.
Я никуда не выходила.
Я просто написала так:
«Я вышла в сад»...

1980

ВЛАДИМИРУ ВЫСОЦКОМУ

I

Твой случай таков, что мужи этих мест и предместий
белее Офелии бродят с безумьем во взоре.

Нам, виды выдавшим, ответствуй, как деве прелестной:
так — быть? или — как? что решил ты в своем Эльсиноре?

Пусть каждый в своем Эльсиноре решает, как может.
Дарующий радость, ты — щедрый даритель страданья.
Но Дании всякой, нам данной, тот славу умножит,
кто подданных душу возвысит до слёз, до рыданья.

Спасение в том, что сумели собраться на площадь
не собираем сброда, бегущим глазеть на Нерона,
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость.
Народ невредим, если боль о Певце — всенародна.

Народ, народившись, — не неуч, он ныне и присно —
не слушатель вздора и не покупатель вещицы.
Певца обожая, — расплачемся. Доблестна тризна.
Так — быть или как? Мне как быть? Не взыщите.

Хвалю и люблю не отвергшего гибельной чаши.
В обнимку уходим — всё дальше, всё выше, всё чище.
Не скарены мы, и сердца разбиваются наши.
Лишь так справедливо. Ведь если не наши — то чьи же?

1980

II. МОСКВА: ДОМ НА БЕГОВОЙ УЛИЦЕ

Московских сборищ завсегдатай,
едва очнется небосвод,
люблю, когда рассвет сохатый
чащобу дыма грудью рвет.

На Беговой — одной гостиной
есть плюш, и плен, и крен окна,
где мчится конь неугасимый
в обгон небесного огня.

И видят бельма рани блеклой
пустых трибун рассветный бред.
Фырчит и блещет бысролетный,
переходящий в утро бег.

Над бредом, бегом — над Бегами
есть плюш и плен. Есть гобелен:
в нём те же свечи и бокалы,
тлен бытия, и плюш, и плен.

Клубится грива ипподрома.
Крепчает рысь молодого дня.
Застолья вспыльчивая дрёма
остаток ночи пьет до дна.

Уж кто-то щей на кухне просит,
и лик красавицы ночной
померк. Окурки утра. Осень.
Все разбредаются домой.

Пирушки грустен вид посмертный.
Еще чего-то рыщет в ней
гость неминуемый последний,
что всех несносней и пьяней.

Уже не терпится хозяйке
уйти в черёд дневных забот,
уж за его спиною знаки
она к уборке подаст.

Но неподвижен гость угрюмый.
Нездешне одинок и дик,
он снова тянется за рюмкой
и долго в глубь вина глядит.

Не так ли я в пустыне лунной
стою? Сообщники души,
кем пир был красен многолюдный,
стремглав иль нехотя ушли.

Кто в стран полуденных заочность,
кто — в даль без имени, в какой
спасительна судьбы всеобщность
и страшно, если ты изгой.

Пригубила — как погубила —
непостижимый хлад чела.
Всё будущее — прежде было,
а будет — быть, что я была.

На что упрямилось воловье
двужилье горловой струны —
но вот уже и ты, Володя,
ушел из этой стороны.

Не поспевает лба неумность
расслышать краткий твой ответ.
Жизнь за тобой вослед рванулась,
но вот — глядит тебе вослед.

Для этой мысли темной, тихой
стих занимался и старел
и сам не знал: причем гостиной
вид из окна и интерьер?

В честь аллегии нехитрой
гость там зажился. Сгоряча
уже он обернул накидкой
хозяйки зябкие плеча.

Так вот какому вверясь року
гость не уходит со двора!
Нет сил поднять его в дорогу
у суеверного пера.

Играй со мной, двойник понурый,
сиди, смотри на белый свет.

Отверстой бездны неподкупной
я слышу добродушный смех.

III

Эта смерть не моя есть ущерб и зачѣт
жизни кровно моей, лбом упершейся в стену.
Но когда свои лампы Театр возожжет
и погасит — Трагедия выйдет на сцену.

Вдруг не поздно сокрыться в заочность кулис?
Не пойду! Спрячу голову в бархатной щели.
Обреченных капризников тщетный каприз —
вжаться, вжиться в укромность — вина неужели?

Дайте выжить. Чрезмерен сей скорбный сюжет.
Я не помню из роли ни жеста, ни слова.
Но смеется суфлёр, вседержитель судеб:
говори: всё я помню, я здесь, я готова.

Говорю: я готова. Я помню. Я здесь.
Сущ и слышим тот голос, что мне подыграет.
Средь безумья, нет, средь слабоумья злодейств
здроаво мыслит один: умирающий Гамлет.

Донесется вослед: не с ума ли сошед
Тот, кто жизнь возлюбил да забыл про живучесть.
Дай, Театр, доиграть благородный сюжет,
бледноликий партер повергающий в ужас.

1983

РИГА

Проснулась в тишине, но словно бы от крика:
— Проснись! — проснулся пульс, снабжающий висок
сознанием бытия. Как я люблю, о Рига,
все острия твои, пронзившие восход.

Светает. Лгну к окну. Вид из окна обширен.
И видимость за мной следит через окно.
Шпиль готики суров. Он не простит ошибок.
Вдруг ошибиться мне сегодня суждено?

Шпиль-судия, прости! Что надобно собору
от бедственной души? Она пред ним чиста.
Но — на помост взойду и разминусь с собою,
греховно разомкнув для пения уста.

Безмолвно петь люблю, не услаждая слуха,
досужего иль нет — не ведаю. Но слух,
отверстый для стихов, не может знать досуга:
стихи внушают боль — какой уж там досуг.

Что я скажу ушам, что я очам открою,
забывши письма для трелей и рулад?
Пока уста твои не обагрились кровью,
труби, труби в твой рог, неистовый Роланд.

Пою — словно платок багряностью мараю.
Вот вся моя судьба, сокрытая от глаз.
Но я люблю тот миг, в который умираю:
я, умерев за вас, останусь жить для вас.

Какая в горле сушь, и мука, и прогорклость.
Как непреклонен шпиль в сияющем окне.
Отдайте горесть — мне. Себе возьмите голос,
любовь и жизнь мою — на память обо мне.

1981

* * *

Лакомка-неженка-Юрмала,
баловень близи морской.
Вешнего воздуха юного
приступ — омает тоской.

Светлое море, не мало ли
света исторгла душа?
Дзинтари, Дубулты, Майори,
жизнь побыла и ушла.

Строго, не суетно, издали,
волею сосен и дюн,
Дубулты, Майори, Дзинтари
пестуют душу и ум.

Майори, Дзинтари, Дубулты,
вот что случилось со мной:
люди мне славу придумали —
мой это грех иль не мой?

Что ни тверди, ни придумывай —
жизнь побыла и ушла.
В чём-то виновны пред Юрмалой
бедные ум и душа.

Слышу ответ побережия:
бедствуй и помни — таков
выбор: иль совесть белейшая,
или — скончанье стихов.

1981

ЛАДЫЖИНО

Владимиру Войновичу

Я этих мест не видела давно.
Душа во сне глядит в чужие края
на тех, моих, кого люблю, кого
у этих мест и у меня — украли.

Душе во сне в Баварию глядеть
досуга нет — но и вчера глядела.
Я думала, когда проснулась здесь:
душе не внове будет взмыв из тела.

Так вот на что я променяла вас,
друзья души, обобранной разбоем.
К вам солнце шло. Мой день вчерашний гас.
Вы — за Окой, вон там, за темным бором.

И ваши слёзы видели в ночи
меня в Тарусе, что одно и то же.
Нашли меня и долго прочь не шли.
Чем сон нежней, тем пробужденье строже.

Вот новый день, который вам пошлю —
оповестить о сердца разрыванье,
когда иду по снегу и по льду
сквозь бор и бездну между мной и вами.

Так я вхожу в Ладыжино. Просты
черты красы и бедствия родного.
О, тетя Маня, смилуйся, прости
меня за всё, за слово и не-слово.

Прогорк твой лик, твой малый дом убог.
Моих друзей и у тебя отняли.
Всё слышу: «Не печалься, голубок».
Да мочи в сердце меньше, чем печали.

Окно во снег, икона, стол, скамья.
Ад глаз моих за рукавом я прячу.
«Ах, андел мой, желанная моя,
не плачь, не сетуй».
Сетую и плачу.

27 февраля 1981

ВОСЛЕД 27-МУ ДНЮ ФЕВРАЛЯ

День пред весной, мне жаль моей зимы,
чей гений знал, где жизнь мою припрятать.
Не предрекай теплыни, не звени,
ты мне грустна сегодня, птичья радость.

Мне жаль снегов, мне жаль себя в снегах,
Оки во льду и полыньи отверстой,
и радости, что дело не в стихах,
а в нежности к пространству безответной.

Ах, нет, не так, не с тем же спорить мне,
кто звал и знал ответа благосклонность.
День-Божество, повремени в окне,
что до меня — я от тебя не скроюсь.

В седьмом часу не остается дня.
Красно-синё окошко ледяное.
День-Божество, вот я, войди в меня,
лишь я — твоё прибежище ночное.

Воскресни же — ты воскрешен уже.
Велик и леп, восстань великолепным.
Я повторю и воздымлю в уме
твой первый свет в моём окошке левом.

Вновь грозно-нежен разворот небес
в знак бедствий всех и вместе благоденствии.
День хочет быть — день скоро будет — есть
солнце-морозный, всё точь-в-точь: чудесный.

Грядущее грядет из близости. Что ж,
зато я знаю выражение сосен,
когда восходит то, чего ты ждешь,
и сердце еле ожидание сносит.

Всё распростерто перед ним, всё — ниц.
Ему не в труд, свет разметав по крышам,
пронзить цветка прозрачный организм,
который люди Ванькой-мокрым кличут.

Да, о растение. Возлюбив его,
с утра смеюсь: кто, Ваня милый, вы-то?
Сердечком влажным это существо
в меня всмотрелось и ко мне привыкло.

Мы с ним вдвоём в обители моей
насквозь провидим ясную погоду.
День пред весной всё шире, всё вольней.
Внизу мне скажут: дело к ледоходу.

Лёд, не ходи! Хотя и весна почти,
земли прочна и глубока остуда.
Мне жаль того, поверх воды, пути
в Поленово, наискосок отсюда.

Я выхожу. Морозно и тепло.
Мне говорят, что дело к ледоходу.
Грущу и рада: утром с крыш текло —
я от воды отламываю воду.

Иду в Пачёво, в деревушку. Во-он
она дымит: добра и пусторука.
К ней влажен глаз, и слух в нее влюблен.
Под горку, в горку, роща и — Таруса.

Я б шла туда, куда глаза вели,
когда б не Ты, кого весна тревожит.
Всё Ты да Ты, всё шалости Твои:
там, впереди, — художник и треножник.

Я не хочу свиданье их спугнуть.
И кто я им, воссоздавая втуне
их поз взаимность, синий санный путь,
себя — пятно, мелькнувшее в этюде?

Им оставляю блеск и синеву.
Цвет никакой не скуден и не тесен.
А я? Каким я день мой назову?
Мне сказано уже, что он — чудесен.

Грядками леса спорят об Оке
отвесный берег с этим вот, положим.
Те двое грациозных вдалеке
всё заняты круженьем многоногим.

День пред весной, снега мой след сотрут.
Ты дважды жил и не узнал об этом.
В окне моём Юпитер и Сатурн
сейчас в соседях. Говорят, что — к бедам.

28 февраля 1981

ИГРЫ И ШАЛОСТИ

Мне кажется, со мной играет кто-то.
Мне кажется, я догадалась — кто,
когда опять усмешливо и тонко
мороз и солнце глянули в окно.

Что мы добавим к солнцу и морозу?
Не то, не то! Не блеск, не лёд над ним.
Я жду! Отдай обещанную розу!
И роза дня летит к ногам моим.

Во всём ловлю таинственные знаки,
то след примечу, то заслышу речь.
А вот и лошадь запрягают в санки.
Коль ты велел — как можно не запречь?

Верней — коня. Он масти дня и снега.
Не всё ль равно! Ты знаешь сам, когда:
в чудесный день! — для усиления бега
ту, что впрягли, ты обратил в коня.

Влетаем в синеву и полыханье.
Перед лицом — мах мощной седины.
Но где же ты, что вот — твое дыханье?
В какой союз мы тайный сведены?

Как ты учил — так и темнеет зелень.
Как ты жалел — так и поют в избе.
Весь этот день, твоим родным издельем,
хоть отдан мне, — принадлежит Тебе.

А ночью — под угрюмо-голубою,
под собственной твоей полулуной —
как я глупа, что плачу над тобою,
настолько сущим, чтоб шалить со мной.

1 марта 1981

РАДОСТЬ В ТАРУСЕ

Я позабыла, что всё это есть.
Что с небосводом? Зачем он зарделся?
Как я могла позабыть средь злодейств
то, что еще упаслось от злодейства?

Но я не верила, что упаслось
хоть что-нибудь. Всё, я думала, — втуне.
Много ли всех проливателей слёз,
всех, не повинных в корысти и в дури?

Время смертей и смертельных разлук,
хоть не прошло, а уму повредило.
Я позабыла, что сосны растут.
Вид позабыла всего, что родимо.

Горестен вид этих маленьких сёл,
рощ изведенных, церковей убиенных.
И, для науки изъятых из школ,
множества бродят подростков военных.

Вспомнила: это восход, и встаю,
алчно сочувствуя прибыли света.
Первыми сосны воспримут зарю,
далее всем нам обещано это.

Трём обольщеньям за каждым окном
радуюсь я, словно радостный кто-то.
Только мгновенье меж мной и Окой,
валенки и соучастье откоса.

Маша приходит: «Как, андел, спалось?»
Ангел мой Маша, так крепко, так сладко!
«Кутайся, андел мой, нынче мороз».
Ангел мой Маша, как славно, как ладно!

«В Паршино, любушка, волк забегал,
то-то корова стенала, томилась».
Любушка Маша, зачем он пугал
Паршина милого сирость и смиренность?

Вот выхожу, на конюшню бегу.
Я ль незнакомец, что болен и мрачен?
Конь, что белеет на белом снегу,
добр и сластёна, зовут его: Мальчик.

Мальчик, вот сахар, но как ты любим!
Глаз твой, отверсто-дрожащий и трудный,
я бы могла перепутать с моим,
если б не глаз — знаменитый и чудный.

В конюхах — тот, чьей безмолвной судьбой
держится общий не выцветший гений.
Как я, главенствуя в роли второй,
главных забыла героев трагедий?

То есть я помнила, помня: нас нет,
если истока нам нет и прироста.
Заново знаю: лицо — это свет,
способ души изъяслять благородство.

Семьдесят два ему года. Вестей
добрых он мало слышал на свете.
А поглядит на коня, на детей —
я погляжу, словно кони и дети.

Где мы берем добродетель и стать?
Нам это — не по судьбе, не по чину.
Если не сгинуть совсем, то — устать
всё не сберемся, хоть имем причину.

Март между тем припекает мой лоб.
В марте ли лбу предаваться заботе?
«Что же, поедешь со мною, милоч?»
Я-то поеду! А вы-то возьмете?

Вот и поехали. Дня и коня,
дня и души белизна и нарядность.
Федор Данилович! Радость моя!
Лишь засмеется: «Ну что, моя радость?»

Слева и справа: краса и краса.
Дым-сирота над деревнею вьется.
Склад неимущества — храм без креста.
Знаю я, знаю, как это зовется.

Ночью, при сильном стеченье светил,
долго смотрю на леса, на равнину.
Господи! Снова меня Ты простил.
Стало быть — можно? Я — лампу придвину.

1—2 марта 1981

РЕВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА. 9 МАРТА

Борису Мессереру

Объятье — вот занятие и досуг.
В семь дней иссякла маленькая вечность.
Изгиб дороги — и разъятье рук.
Какая глушь вокруг, какая млечность.

Здесь поворот — но здесь не разглядеть
от Паршина к Тарусе поворота.
Стоит в глазах и простоит весь день
все-белизны сплошная поволока.

Даль — в белых нетях, близь — не глубока,
она — белка, а не зрачка виденье.
Что за Окою — тайна, и Ока —
лишь знание о ней иль заблужденье.

Вплотную к зрению поднесен простор,
нет, привнесен, нет, втиснут вглубь, под веки,
и там стеснен, как непомерный сон,
смелее яви преуспевший в цвете.

Вход в этот цвет лишь ошупи отверст.
Не рыщу я сокрытого порога.
Какого рода белое окрест,
если оно белее, чем природа?

В открытье — грех заглядывать уму,
пусть ум поможет продвигаться телу
и встречный стопор взору моему
зовет, как все его зовут: метелью.

Сужает круг всё сущее кругом.
Белеют вместе цельность и подробность.
Во впадине под ангельским крылом
вот так бело и так темно должно быть.

Там упасают выпуклость чела
от разноцветья и непостоянства.
У грешного чела и ремесла
нет сводника лютее, чем пространство.

Оно — влюбленный соглядатай мой.
Вот мучит белизною самодельной,
но и прощает этой белизной
вину моей отлучки семидневной.

Уж если ты себя творишь само,
скажи: в чём смысл? в чём тайное веленье?
Таруса где? где Паршино-село?
Но, скрытное, молчит стихотворенье.

9—11 марта 1981

Таруса

МИЛОСТЬ ПРОСТРАНСТВА. 10 МАРТА

Борису Мессереру

Я описала марта день девятый —
см. где-то здесь, где некому смотреть.
Вот перечень его примет невнятный:
застой снегов и снега круговерть.

В нём всё отвесно и ничто не навзничь.
Восстал хребет последней пред-весны.
Тот цвет, что белым мною вкратце назван, —
сильней и безымянней белизны.

Неодолима вздыбленная плоскость.
Ямщик всевластью вьюги подлежит.
Но в этот раз ее провидит лошадь,
чей гений — прыток и домой бежит.

Конь, мной воспетый и меня везущий,
тягается с воспетыми не мной,
пока, родной мой, вечно-однозвучный,
не от насышки слышу голос твой.

Всё так и было в дне девятом марта.
Равна моим чернилам белизна:
в нее их тцаньем ни одна помарка
развязно не была привнесена.

Как школьник в труд радивого соседа
шлет глаз крадущий, я взяла себе
у дня — весь день, всё поведенье снега
и песнь похмелья в Паршине-селе.

На измышленья разум сил не тратил:
вздмалось поле и метель мела.
Лишь ты придуман, призрачный читатель.
Но ты мне нужен, выдумка моя.

Сам посуди: про марта день девятый
ещё моих ты не прочел стихов,
а я, под утро, из теплыни ватной
кошусь в окно: десятый день каков?

Его восход внушает беспокойство:
как бы меня во сне не провели
влиянья неба, шлющие с откоса
зеленый свет в зеницу полыньи.

Капель-крикунья, потакая марту,
навзрыд вещает. Ярко лжет окно,
что опыт белой росписи по мраку
им не изведен иль забыт давно.

На улицу! Но валенки не в зиму,
а в лужу вводят. Некому пенять.
На вешнюю нездешнюю резину
мой верный войлок надобно менять.

Опять иду. Я верю косогору.
Он знает всё про то, что за Окой.
Пал занавес. И слепнущему взору
даль предстает младою и нагой.

Над всем, что было прочно и парчово,
хихикнул чей-то синий голосок.
Тарусы — сквозь прозрачное Пачёво —
вон крайний дом, не низок, не высок.

Я слышу смех пространства и Кого-то,
кто снег убрал и посылает свет.
Как подступают к сердцу жизнь и воля,
когда смеется Тот, кто милосерд.

Так думаю — в каком это? — в четвертом
часу. Часы и я удивлены.
Усилен воздух нежным и нетвердым
сияньем, равным четверти луны.

Еще пишу: отвьюжило, отмглось,
Оке наскучил закадычный лёд.
Но в это время чья-то власть и милость
«Спи!» — говорит и мой целует лоб.

10–11 марта 1981

Таруса

СТРОГОСТЬ ПРОСТРАНСТВА. 11 МАРТА

Борису Мессереру

Что марту дни его: девятый и десятый?
А мне их жаль терять и некогда терять.
Но кто это ещё, и словно бы с досадой,
через плечо мое глядит в мою тетрадь?

Одиннадцатый, ты? Смещая очередность,
твой третий час уже я трачу на вчера.
До света досижу и дольше — до черемух,
чтоб наспех не сказать, как стала ночь черна.

А где твоя луна? Ведь только что сияла.
Сияет — но моя, возвращенная в стихах.
Да ты, я вижу, крут. Там, где вода стояла,
ты льдины в память льдин возводишь впопыхах.

Я пререкалась с днем как со знакомцем новым —
он знать меня не знал. Он укреплял Оку.
Он сизмальства зари был взрослым и суровым.
Все вензели зимы он возвратил окну.

Он строго проверял: морозно ли? бело ли? —
и на лету сгубил слабейшую из птах.
Он строил из воды умершее бывшее,
как будто воскрешал храм, обращенный в прах.

День стужу затевал и делал, что затеял:
вязал ручки узлом, доверье верб терзал.
То гением глядел, то взглядывал злодеем.
Что б Ты о нём сказал, который всё сказал?

Когда я, как всегда, отправилась в Пачёво,
меня, как свой пустяк, он зашвырнул домой.
Я больше дням твоим, март, не веду подсчета.
Вот воспеватель твой: озябший и больной.

Меж дней твоих втеснюсь в укромный промежуток.
Как сумрачно глядит пространство-нелюдим!
Оно шалит само, но не приемлет шуток.
Несдобровать тому, кто был развязан с ним.

В ночи вызывают к дню чернила и бумага.
Мне жаль, что преступил полночную черту
День — выродок из дней, хоть выходец из марта,
один, словно поэт — всегда чужой в роду.

Особенный закат он причинил природе:
уж не было зари, а всё была видна.
Стихами о его трагическом уходе
я возвещу восход двенадцатого дня.

11—12 марта 1981

Таруса

КОФЕЙНЫЙ ЧЕРТИК

Опять четвертый час. Да что это, ей-Богу!
Ну, что, четвертый час, о чём поговорим?
Во времени чужом люблю свою эпоху:
тебя, мой час, тебя, веселый кофеин.

Сообщник-гуша, вновь твой черный чертик ожил.
Ему пора играть, но мне-то — спать пора.
Но угодим — ему. Ум на него помножим —
и то, что обречем, отпустим до утра.

Гадаешь ты другим, со мной — озорничаешь.
Попав вовнутрь судьбы, зачем извне гадать?
А если я спрошу, ты ясно означаешь
разлуку, но любовь и ночи благодать.

Но то, что обрели,— вот парочка, однако.
Их общий бодрый пульс резвится при луне.
Стих вдумался в окно, в глушь снега и оврага,
и, видимо, забыл про чертика в уме.

Он далеко летал, вернулся, но не вырос.
Пусть думает свое, ему всегда видней.
Ведь догадался он, как выкроить и выкрасть
Тарусу, ночь, меня из бесполезных дней.

Эй, чертик! Ты шалишь во мне, а не в таверне.
Дай помолчать стиху вблизи его луны.
Покуда он вершит свое само-творенье,
люблю на труд его смотреть со стороны.

Меня он никогда не утруждал нисколько.
Он сочинит свое — я напишу пером.
Забыла — дальше как? Как дальше, тетя Маня?
Ах, да, там дровосек приходит с топором.

Пока же стих глядит, что делает природа.
Коль тайну сохранит и не предаст словам —
пускай! Я обойдусь добычею восхода.
Вы спали — я его сопровождала к вам.

Всегда казалось мне, что в достижение рани
есть лепта и моя, есть тайный подвиг мой.
Я не ложилась спать, а на моей тетради
Усталый чертик спит, поникнув головой.

Пойду, спущусь к Оке для первого поклона.
Любовь души моей, вдруг твой послушник — здесь
и смеет говорить: нет воли, нет покоя,
а счастье — точно есть. Это оно и есть.

12 марта 1981

Таруса

ДЕНЬ: 12 МАРТА 1981 ГОДА

Дни марта меж собою не в родстве.
Двенадцатый — в нём гость или подкидыш.
Черты чужие есть в его красе,
и март: «Эй, март!» — сегодня не окликнешь.

День — в зиму вышел нравом и лицом:
когда с холмов ее снега поплыли,
она его кукушкиным яйцом
снесла под перья матери-теплыни.

Я нынче глаз не отпускала спать —
и как же я умна, что не заснула!
Я видела, как воля Дня и стать
пришли сюда, хоть родом не отсюда.

Дню доставало прирожденных сил
и для восхода, и для снегопада.
И слышалось: «О нареченный сын,
мне боязно, не восходи, не надо».

Ему, когда он челядь набирал,
всё, что послушно, явно было скушно.
Зачем позёмка, если есть буран?
Что в бледной стыни мыкаться? Вот — стужа.

Я, как известно, не ложилась спать.
Вернее, это Дню и мне известно.
Дрожать и зубом на зуб не попасть
мне как-то стало вдруг не интересно.

Я было вышла, но пошла назад.
Как не пойти? Описанный в тетрадке,
Для нынешнего пред...— скажу: пред-брат —
оставил мне наследье лихорадки.

Минувший день, прости, я солгала!
Твой гений — добр. Сама простыла, дура,
и провожала в даль твои крыла
на зябких крыльях зыбкого недуга.

Хворь — боязлива. Ей неведомо
терпеть окна красу и зазыванье —
в блеск бытия вперяет слепоту,
со страхом слыша бури завыванье.

Устав смотреть, как слишком сильный День
гнёт сосны, гладит против шерсти ели,
я без присмотра бросила метель
и потащила под присмотр постели.

Проснулась. Вышла. Было семь часов.
В закате что-то слышимое было,
но тихое, как пенье голосов:
«Прощай, прощай, ты мной была любима».

О, как сквозь чернь березовых ветвей
и сквозь решетку... там была решетка —
не для красы, а для других затей,
в честь нищего какого-то расчета...

сквозь это всё сияющая весть
о чём-то высшем — горем мне казалась.
Нельзя сказать: каков был цвет. Но цвет
чуть-чуть был розовей, чем несказанность.

Вот участь совершенной красоты:
чуть брезжить, быть отсутствия на грани.
А прочего всего — грубы черты.
Звезда взошла не как всегда, а ране.

О День, ты — крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блещет в небе ровно пол-луны:
всё — в меру, без изъяна, без излишка.

Скончаньем Дня любитесь слеза.
Мороз: слезу содеешь, но не выльешь.
Я ничего не знаю и слепа.
А Божий День — всезнающ и всевидящ.

12—14 марта 1981

Таруса

РАССВЕТ

Светает раньше, чем вчера светало.
Я в шесть часов проснулась, потому что
в окне — так близко, как во мне, —
вещаю,
капель бубнила, предсказаньем муча.

Вот голосок, разорванный на всхлипы,
возрос в струю и в стройное стенанье.
Маслины цвета превратились в сливы:
вода синее на столе в стакане.

Рассвет всё гуще набирает силу,
бросает в снег и слух синичью стаю.
Зрачки, наверно, выкрашены синью,
но зеркало синё — я не узнаю.

Так совершенно наполненье зренья,
что не хочу зари, хоть долгожданна.
И — ненасытным баловнем мгновенья —
смотрю на синий томик Мандельштама.

22 марта 1981

Таруса

НЕПОСЛУШАНИЕ ВЕЩЕЙ

Что говорить про вольный дух свечей —
все подлежим их ворожке и сглазу.
Иль неодушевленных нет вещей,
иль мне они не встретились ни разу.

У тех, что мне известны, — норы крут.
Не перечсть их вспылчивых поступков.
То пропадут, то невпопад придут,
свой тайный глаз сокрыв, но и потупив.

Сейчас вот потешались надо мной:
Вещь — щелкала не для, а вместо света,
и заточённый в трубы водяной
не дал воды и задрожал от смеха.

Всю эту ночь, от хваткости к стихам,
включатель тьмы пощелкивал над слухом,
просил воды назойливый стакан
и жадный кран, как щедрый филин, ухал.

Удел вещей: спешить куда-то вдаль.
Вчера, под вечер, шаль мне подарили —
под утро зябнет и скучает шаль,
ей невтерпёж обнять плеча другие.

Я понукаю их свободный бег —
Пусть будет пойман чьей-нибудь рукою,
как этот вольный быстротечный снег,
со всех холмов сзываемый Окою.

Я не умела вещи приручать.
Их своеволие оставляю людям.
Придвиньтесь ближе, лампа и тетрадь.
Мы никакую вещь не обессудим.

Сейчас, сей миг, от сей строки — рука
отпрянула, я ей перекрестилась:
для шумного, из недр души, зевка
дверь шкафа распахнулась и закрылась.

В ночь на 23 и 23 марта 1981
Таруса

СВЕТ И ТУМАН

Сколь ни живи, сколь ни учи наук —
жизнь знает, как прельстить и одурачить,
и робкий неуч, молвив: «Это — луг», —
остолбенева глядит на одуванчик.

Нельзя привыкнуть и нельзя понять.
Жизнь — знает нас, а мы ее — не знаем.
Ее надзором, в занебесном «над»
исток берущим, всяк насквозь пронзаем.

Мгновенье ока — вдохновенье губ —
в сей миг проник наш недалекий гений,
но пред вторым — наш опыт кругло глуп:
сплошное время — разноречивых мгновений.

Соседка капля — капле не близнец,
они похожи, словно я и кто-то.
Два раза одинаково блеснуть
не станет то, на что смотрю с откоса.

Всегда мне внове невидаль окна.
Его читатель вечный и работник,
робею знать, что значат письма, —
и двадцать раз уже я второгодник.

Вот — ныне, в марта день двадцать шестой,
я затемно взялась за это чтение.
На языке людей: туман густой.
Но гуще слова бездны изъявление.

Какая гордость и какая власть —
себя столь скрытной охранить стеною.
И только галки промельк мимо глаз
не погнушался свидеться со мною.

Цвет в просторечье назван голубым,
но остается анонимно-большим.
На таковом — малина и рубин —
мой нечванливый Ванька-мокрый ожил.

Как бы — светает. Но рассвета рост
Не снизошел со зрителем якшаться.
Есть в мартовской понурости берез
особое уныние пред-счастья.

Как все неизымаемо из мглы!
Грядущего — нет воли опасаться.
Вполоборота, ласково: «Не лги!» —
и вновь собою занято пространство.

26 марта 1981
Таруса

ЛУНА ДО УТРА

Что опыт? Взор! Нет опыта любви.
Любовь и есть отсутствие былого.
О, как неопытно я жду луны
на склоне дня весны двадцать второго.

Уже темно! И там лишь не темно,
где нежно меркнет розовая зелень.
Ее скончанье и мое окно —
я так стою — соотношу я зреньем.

Соблазн не в том, что схожи цвет и свет —
в окне скучает роза абажура —
меж ними — муки связь: о лампа, нет,
свет изведу, а цвет не опишу я.

Но прежде надо перенести зарю —
весть тихую о том, что вечность — рядом.
Зари не видя, на печаль мою
окно мое глядит печальным взглядом.

Что, ситцевая роза, заждалась?
Ко мне твоя пылает сердцевина
такою страстью, что — звезда зажглась,
но в схватке вас двоих — не очевидна.

Зажглась предтеча десяти часов.
Страшусь, что помрачневшими глазами
я вытяну луну из-за лесов
иль навсегда оставлю за лесами.

Как поведение нервов назову?
Они зубами рвут любой эпитет,
до злата прожигают синеву
и причиняют небесам Юпитер.

Здесь, где живу, есть — не скажу: балкон —
гроздь ветхости, нарост распада, или
древесное подобье облаков,
образование трогательной гнили.

На всё на это — выхожу. Вон там,
в той стороне опасность золотая.
Прочь от нее! За мною по пятам
вихрь следует, покров стола взметая.

Переполох испуганных листов
спроста ловлю, словно метель иль стаю.
Верх пекла огнедышит из лесов —
еще сильнее и выпуклей, чем знаю.

Вздор — хлад, и желтизна, и белизна.
Что опыт, если всё не предвестимо.
Как оборотень, движется луна,
вобрав необратимое светило.

(И, кстати, там, за брезжущей чертой
и лунной ночи, и стихотворенья,
истекшее вот этой краснотой,
я встречу солнце, скрытое от зренья.

Всем полнокровьем выкормив луну,
оно весь день пробудет в блеклых нетях.
Я видела! Я долг ему верну
стихами, что наступят после этих.)

Подъем луны — непросто претерпеть.
Уж мочи нет — всё длится проволочка.
Тяжелая, еще осталась треть
иным очам и для меня заочна.

Вот — вся округлость видима. Луну:
взойдет иль нет — уже никто не спросит.
Явилась и зависла. Я люблю
ее привычку медлить между сосен.

Затем, что край обобран чернотой, —
вдруг как-то человечно косовата.
Но не проста! Не попрана пятой
(я знаю: он невинен) космонавта.

Вдруг улыбнусь и заново пойму,
чей в ней так ясен и сохранен гений.
Она всегда принадлежит Ему —
имуществом двух маленьких имений.

Немедленно луна меняет цвет
на мутно-серебристый и особый.
Иль просто ей, чтоб продвигаться вверх,
удобно стать бледней и невесомей.

Мне всё труднее подступать к окну.
Чтоб за луной угнался провожатый:
влюбленный глаз — я голову клоню
еще левей. А час который? Пятый.

На этом точка падает в тетрадь.
Сплошь темноты — всё зримее и реже.
И снова нужно утро озирать —
нежнее и неграмотней, чем прежде.

26—27 марта 1981

Таруса

УТРО ПОСЛЕ ЛУНЫ

Что там с луною — видит лишь стена.
Окно уже увлечено Окою.
Моя луна — иссякла навсегда.
Вы осиянны вечной, но другою.

Подслеповатым пристальным белком
белесый день глядит неблагосклонно.
Я выхожу на призрачный балкон —
он свеж, как описание балкона.

Как я люблю воспетый мной предмет
вновь повстречать, но в роли очевидца.
Он как бы знает, что он дважды есть,
и ластится, клубится и двоится.

Нет ни луны и никаких улик,
что впрямь была. Забывчиво пространство.
Учись, учись, тщеславный ученик,
и, будучи, не помышляй остаться.

Перед лицом — тумана толщина.
У слуха — лишь добычи и удачи:
нежнейших пересвистов толчея,
любви великой маленькие плачи.

Священный шум несуетной возни:
томленье свадеб, добыванье пищи.
О, милый мир, отверстый для весны,
как уберечь твоё сердечко птичье?

Кому дано собою заслонить
твой детский облик в далях законных?
Надежда — что прищуриться ленив
твой смертный час затеявший охотник.

Вдруг раздается кратковзвучный гром,
мгновенно-меткий выстрел многоточья:
то дятел занят праведным трудом —
спросонок взмыла паника сорочья.

Он потрясает обомлевший ствол,
чтоб помутился разум насекомых.
Я возвращаюсь и сажусь за стол —
счастливцев из существ, им не искомых.

Что я имею? Бывшую луну,
туман и не-событие восхода.
Я обещала солнцу, что верну
долги луны. Что делать мне, природа?

Чем напитаю многоцветье дня,
коль все цвета исчерпаны луною?
Достанет ли для этого меня
и права дальше оставаться мною?

Меж тем — живой и всемогущий блеск
восходит над бессонницей моею.
Который час? Уже не важно. Без
чего-то семь. Торжественно бледнею.

27 марта 1981

Таруса

ВОСЛЕД 27-му ДНЮ МАРТА

У пред-весны с весною столько распрей:
дождь нынче шел и снегу досадил.
Двадцать седьмой, предайся, мой февральский,
объятаям — с марта днем двадцать седьмым.

Отпразднуем, погода и погода,
наш тайный праздник, круглое число.
Замкнулся круг игры и хоровода:
дождливо-снежно, холодно-тепло.

Внутри, не смея ничего нарушить,
кружусь с прозрачным циркулем в руке
и белую пространную окружность
стесняю черным лесом вдалеке.

Двадцать седьмой, февральский, несравненный,
посол души в заоблачных краях,
герой стихов и сирота вселенной,
вернись ко мне на ангельских крылах.

Благодарю тебя за все поблажки.
Просила я: не отнимай зимы! —
теплыни и сиянья неполадки
ты взял с собою и убрал с земли.

И всё, что дале делала природа,
вступив в открытый заговор со мной, —
не пропустив ни одного восхода,
воспела я под разною луной.

Твой нынешний ровесник и соперник
был мглист и долог, словно времена,
не современен марту и сиренев,
в куртины мрака спрятан от меня.

Я шла за ним! Но — чем быстрее аллея
петляла в гору, пятась от Оки,
тем боязливей кружево белело,
тем дальше убегали башмачки.

День уходил, не оставляя знака, —
то, может быть, в слезах и впопыхах,
Ладыжина прекрасная хозяйка
свой навещала разоренный парк.

Закат исполнен женственной печали.
День медленно скрывается во мгле —
пять лепестков забытой им перчатки
сиренью увядают на столе.

Опять идет четвертый час другого
числа, а я — не вышла из вчера.
За днями еженощная догонка:
стихи — тесна всех дней величина.

Сова? Нет! Это вышла из оврага
большая сырость и вошла в окно,
согрелась — и отправился обратно
невнятно-белый неизвестно кто.

Два дня моих, два избранных любимца,
останьтесь! Нам — расстаться не дано.
Пусть наша сумма бредит и клубится:
ночь, солнце, дождь и снег — нам всё равно.

Трепещет соглядатай-недознайка!
Здесь странная компания сидит:
Ладыжина прекрасная хозяйка,
я, ночь и вы, два дня двадцать седьмых.

Как много нас! — а нам еще не вдосталь.
Новь жалуется в странноприимный дом.
И то, во что мне утро обойдется, —
я претерплю. И опишу — потом.

В ночь на 28 и 28 марта 1981
Таруса

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАРУСУ

Пред Окой преклоненность земли
и к Тарусе томительный подступ.
Медлил в этой глубокой пыли
стольких странников горестный посох.

Нынче май, и растёт желтизна
из открытой земли и расщелин.
Грустным знаньем душа стеснена:
этот миг бытия совершенен.

К церкви Бёховской ластится глаз.
Раз ещё оглянусь — и довольно.
Я б сказала, что жизнь — удалась,
всё сбылось и нисколько не больно.

Просьбы нет у пресыщенных уст
к благолепию цветущей равнины.
О, как сир этот рай и как пуст,
если правда, что нет в нём Марины.

16 (и 23) мая 1981

Таруса

ПРЕПИРАТЕЛЬСТВА И ПРИМИРЕНИЯ

Вниз, к Оке, упадая сквозь лес,
первоцвет упасая от следа.
Этот, в дрожь повергающий, блеск
мною воспет и добыт из-под снега.

— Я вернулась, Ока! — Ну, так что ж, —
отвечало Оки выраженье.—
Этот блеск, повергающий в дрожь,
не твое, а мое достижение.

— Но не я ли сподвижник твоих
льда недвижимого и ледохода?

— Ты не ведаешь, что говоришь.
Ты жива и еще не природа.

— Я всю зиму хранила тебя,
словно берег твой третий и тайный.

— Я не знаю тебя. Я текла
самовластно, прохожий случайный.

— Я лишь третьего дня над Курой
без твоих тосковала излучин.

— Кто теплыню отчизны второй
обольщен — пусть уходит, он скучен.

Зачерпнула воды, напилась
не любезной и скаредной влаги.
Разделяли Оки неприязнь
раболепные лес и овраги.

Чтоб простили меня — сколько лет
мне осталось? Кукушка умолкла.
О, как мало, овраги и лес!
Как печально, как ярко, как мокро!

Всё, что я воспевала зимой,
лишь весну ныне любит, весну лишь.
Благоденствуй, воспетое мной!
Ты вспомнишь меня и возлюбишь.

Возымевшей в бессонном зрачке
заводь мглы, где выводится слово,
без меня будет мало Оке
улаждать полусон рыболова.

— Оглянись! — донеслось. — Оглянись!
Там ручей упирался в запруду.
Я подумала: цвет медуниц
не забыть описать. Не забуду.

Пред лицом моим солнце зашло.
Справа — Серпухов, слева — Алексин.
— Оглянись! — донеслось. — Ни за что. —
Трижды розово небо над лесом.

Слив двоюродно-близких цветов:
от лилового неотделимы
фиолетовость детских стихов
на полях с отпечатком малины.

Такова ж медуница для глаз,
только синее — гуще и ниже.
Чей-то голос, в который уж раз:
— Оглянись! — умолял. — Оглянись же!

Оглянулась. Закрывает глаза.
Этот блеск, повергающий в ужас
обожанья, я знаю, Ока.
Как ты любишь меня, как ревнуешь!

— О, прости! — я просила Оку.
Я опять поднималась на сцену.
Поклонюсь — и писать не могу,
поглядеть на бумагу не смею.

Неопрятен и славен удел
ведать хладом, внушаемым залу.
Голос мой обольщает людей.
Это грех или долг — я не знаю.

Это страх так отважно поёт,
обманув стадион бледнолицый.
Горла алого рваный проём
был ли издали схож с медуницей?

Я лишь здесь совершенно не лгу.
Хоть за это пошли мне прощенья.
Здесь впервые мой след на снегу
я увидела без отвращения.

«Это кто-то хороший стоял», —
я подумала и засмеялась.
Я-то знала, как путник устал,
как ему этой ночью писалось.

Я жалею февраль мой и март.
Сердце как-то задумчиво бьется.
Куковал многократный обман:
время есть! всё еще обойдется!

Что сулят мне меж мной и Окой
препирательства и примиренья —
от строки я узнаю другой,
не из этого стихотворенья.

16, 18—19 мая 1981

Таруса

ЧЕРЕМУХА

Когда влюбленный ум был мартом очарован,
сказала: досижу, чтоб ночи отслужить,
до утренней зари, и дольше — до черемух,
подумав: досижу, коль Бог пошлет дожить.

Сказала — от любви к немыслимости срока,
нюх в имени цветка не узнавал цветка.
При мартовской луне чернела одиноко —
как веи сквозь метель — простертая строка.

Стих обещал, а Бог позволил — до черемух
дожить и досидеть: перед лицом моим
сияет бледный куст, так уязвим и робок,
как будто не любим, а мучим и гоним.

Быть может, он и впрямь терзаем обожаньем.
Он не повинен в том, что мной предreshено.
Так бедное дитя отцовским обещаньем
помолвлено уже, еще не рождено.

Покуда, тяжело пав на южные ограды,
вакхически цвела и нежилась сирень,
Арагву променять на мрачные овраги
я в этот раз рвалась: о, только бы скорей!

Избранница стиха, соперница Тифлиса,
сейчас из лепестков, а некогда из букв!
О, только бы застать в кулисах бенефиса
пред выходом на свет ее молодой испуг.

Нет, здесь еще свежо, еще не могут вётлы
потупленных ветвей изъять из полых вод.
Но вопрошал мой страх: что с нею? не цветет ли?
Сказали: не цветет, но расцветет вот-вот.

Не упустить ее пред-первое движение —
туда, где спуск к Оке становится полог.
Она не расцвела! — ее предположение
наутро расцвести я забрала в полон.

Вчера. Немного тьмы. И вот уже: сегодня.
Слабеют узелки стесненных лепестков —
и маленького рта желает знать зевота:
где свеже-влажный корм, который им иском.

Очнулась и дрожит. Над ней лицо и лампа.
Ей стыдно расцветать во всю красу и стать.
Цветок, как нагота разбуженного глаза,
не может разглядеть: зачем не дали спать.

Стих, мученик любви, прими ее немилость!
Что раболепство ей твоих-моих чернил!
О, эта не из тех, чья верная взаимность
объятья отворит и скуку причинит.

Так ночь, и день, и ночь склоняюсь перед нею.
Но в чём далекий смысл той мартовской строки?
Что с бедной головой? Что с головой моею?
В ней, словно мотыльки, пестреют пустяки.

Там, где рабочий пульс под выпуклое темя
гнал надобную кровь и управлялся сам,
там впадина теперь, чтоб не стеснять растенья,
беспамятный овраг и обморочный сад.

До утренней зари... не помню... до чего-то,
к чему не перенести влечения и тоски,
чей паутинный клей... чья липкая дремота
висит между висков, где вязнут мотыльки...

Забытая строка во времени повисла.
Пал первый лепесток, и грустно, что — к теплу.
Всегда мне скушен был выискиватель смысла,
и угодить ему я не могу: я сплю.

17 мая 1981

Таруса

ЧЕРЕМУХА ТРЕХДНЕВНАЯ

Три дня тебе, красавица моя!
Не оскудел твой благородный холод.
С утра Ольга Ивановна приходит:
— Ты угоришь! Ты выйдешь из ума!

Вождь белокурый странных дум, три дня
твои я исповедовала бредни.
Пора очнуться. Уж звонят к обедне.
Нефёдов нынче снова у меня.

— Всё так и есть! Душепогубный цвет
смешал тебя! Какой еще Нефёдов?
— Почуевский ученый барин: с ведром
нас поздравлял как добрый наш сосед.

— Что делает растение-озорник!
Тут чей-то глаз вмешался, чья-то зависть.
— Мне всё, Ольга Ивановна, казалось,—
к чему это? — что дом его сгорит.

Так было жаль улыбчивых усов,
и чесучи по-летнему, и трости.
Как одуванчик — кружевные гости
развеются, всё ветер унесёт.

— Уж чай готов. А это, что свело
тебя с ума, я выкину, однако.
И выгоню Нефёдова.— Не надо.
Всё — мимолётно. Всё пройдет само.

— Тогда вставай.— Встаю. Какая глушь
в уме моём, какая лень и лунность.
Я так, Ольга Ивановна, люблю вас,
что поневоле слог мой неуклюж.

Пьем чай. Ольга Ивановна такой
выискивает позы, чтобы глазом
заботливым в мой повреждённый разум
удобней было заглянуть тайком.

Как чай был свеж! Как чудно мёд горчил!
Как я хитра! — ни чаем и ни мёдом
не отвлеклась от знания, что Нефёдов
изящно-грузно с дрожек соскочил.

С Нефёдовым мы долго говорим
о просвещение, и, при встрече рюмок,
о мрачных днях Отечества горюем
и вялое правительство браним.

Конечно, о Толстом. Мы, кстати, с ним
весьма соседи: Серпухов и Тула.
Затем, гнушаясь изменностью стула,—
о будущем, чей свет неодолим.

О, кто-нибудь, спроси меня о том...—
нет никого! — мне всё равно! пусть спросит:
— Про вас всё ясно. Но Нефёдов сродствен
вам почему? Ведь он-то — здрав умом?

— О, совершенно. Вся его родня
известна здравомыслием, и сам он
сдавал по электричеству экзамен.
Но — и его черемухе три дня.

Нет никого — так пусть молчат. Скорей!
Нефёдов милый, это вы сказали,
что прельщены зелеными глазами
Цветаева двух юных дочерей?

Да, зеленью под сильной кручей лба,
как и сказал, он был прельщен! А как же
не быть? Заметно: старшей, музыкантше,
назначена счастливая судьба.

— Я б их привел, но — зябкая весна
и, кажется, они теперь на водах.
— Они в Нерви. Да и нельзя, Нефёдов,
ненадобно: их матушка больна.

Ушёл. Ольга Ивановна вошла.
Лишь глянула — и сразу укорила:
— Да чем же ты Нефёдова кормила?
Ей-ей, ты не в себе, моя душа.

— Он вам знаком? — Ещё бы не знаком!
Предобрый, благотворный, только — нервный.
Хвала моей черёмухе трехдневной!
Поздравьте нас с ее четвертым днём.

Он начался. Как зелены леса!
Зеленым светом воды полыхнули.
Иль это созерцают полнолуны
двух девочек зеленые глаза?

19—20 мая 1981

Таруса

* * *

Есть тайна у меня от чудного цветенья,
здесь было б: чуднаГО — уместней написать.
Не зная новостей, на старый лад желтея,
цветок себе всегда выпрашивает «ять».

Где для него возьму услад правописанья,
хоть первороден он, как речи приворот?
Что — речь, краса полей и ты, краса лесная,
как не ответный труд вобравших вас аорт?

Лишь грамота и вы — других не видно родин.
Коль вытоптан язык — и вам не устоять.
Светает, садовод! Светает, огородник!
Что ж, потянусь и я возделывать тетрадь.

Я этою весной все встретила растенья.
Из-под земли их ждал мой повивальный взор.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
И как же ей не быть? Всё, что не тайна,— вздор.

Отраден первоцвет для зренья и для слуха.
— Эй, ключики! — скажи — он будет тут как тут.
Не взыщет, коль дразнить: баранчики! желтуха!
А грамотеи — чтут и буквицей зовут.

Ах, буквица моя, всё твой букварь читаю.
Как азбука проста, которой невдомек,
что даже от тебя я охраняю тайну,
твой ключик золотой ее не отомкнет.

Фиалки прожила и проводила в старость
уменьше медуниц изображать закат.
Черемухе моей — и той не проболталась,
под пыткой божества и под его диктант.

Уж вишня расцвела, а яблоня на завтра
Оставила расцвести... и тут же, вопреки
пустым словам, в окне, так близко и внезапно
прозрел ее цветок в конце моей строки.

Стих падает пчелой на стебли и на ветви,
чтобы цветочный мёд названий целовать.
Уже не знаю я: где слово, где соцветье?
Но весь цветник земной — не гуще, чем словарь.

В отместку мне — пчела в мою строку влетела.
В чужую страсть впилась ошибка жадных уст.
Есть тайна у меня от чудного цветенья.
Но ландыш расцветет — и я проговорюсь.

22 мая 1981

Таруса

ЧЕРЕМУХА ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ

Пока черемухи влиянье
на ум — за ум я приняла,
что сотворим — она ли, я ли —
в сей месяц май, сего числа?

Души просторную покорность
я навязала ей взамен
отчизн откосов и околиц,
кладбищ и монастырских стен.

Всё то, что целая окрестность
вдыхает, — я берусь вдохнуть.
Дай задохнуться, дай воскреснуть
и умереть — дай что-нибудь.

Владей — я не тесней округи,
не бойся — я странней людей,
возьми меня в рабы иль в други
или в овраги — и владей.

Какой мне вымысел надышишь?
Свободная повелевать,
что сочинишь и что напишешь
моей рукой в мою тетрадь?

К утру посмотрим — а покуда
окуривай мои углы.
В середине замкнутого круга —
любовь или канун любви.

Нет у тебя другого знания:
для вечных наущений двух,
для упования и терзанья
цветет твой болевотворный дух.

Уже ты насылаешь птицу,
чье имя в тайне сохранию,
что не снисходит к очевидцу,
чей голос не сплошной сравню

с обрывом сердца, с ожиданьем
соседней бездны на краю,
для пробы, с любопытством дальним,
на миг втянувшей жизнь мою

и отпустившей, — ей не надо
того, чему не вышел срок.
Но вот ее привет из сада
донесся, искусил и смолк.

Во что, черемуха, играем —
я помню, знаю, что творим.
Уж я томлюсь недомоганьем
всемирно-сущим — как своим.

Твой запах — вкрадчивая сводня, —
луна и птицы ведовство
твердят, что именно сегодня,
немедленно... но что? Да всё!

Вся жизнь, всё разрыванье сердца —
сейчас, не припасая впрок.
Двух зорь сплоченное соседство
теснит мой заповедный срок.

Но пагубою приворота
уста я напитаю чьи?
Нет гостя, кроме самолета
в необитаемой ночи.

Продлится за моею шторой
запинка быстрых двух огней,
та доля вечности, которой
довольно выдумке моей.

Что Паршино ему, Пачёво,
Ладыжино, Алекино?
Но сердце летчика ночного
уже любить обречено

свет неразборчивый. Отныне
он станет волен, странен, дик.
Его отринут все родные.
Он углубится в чтение книг.

Помолвку разорвет, в отставку
подаст — нельзя! — тогда в Чечню,
в конец недоуменья, в схватку,
под пулю, неизвестно чью.

Любым испытано, как властно
влечет нас островерхий снег.
Но сумрачный прищур Кавказа
мирволит нам в наш скушный век.

Его пошлют, но в санаторий.
Печаль, печаль. Наверняка
от лютой мирности снотворной
он станет пить. Тоска, тоска.

Нет, жаль мне летчика. Движеньем
давай займем его другим.
Спасем, повысим в чине, женим,
но прежде — разминемся с ним.

Черемуха, на эти шутки
не жаль растраты бытия.
Светает. Как за эти сутки
осунулись и ты, и я.

Слабеет дух твой чудотворный.
Как трогательно лепестки
в твой день предсмертный, в твой четвертый
на эти падают стихи.

Весной, в твоих оврагах отчих,
не знаю: свидимся ль опять?
Несется неведимый летчик
ночного измышленья вспять.

Пошли ему не ведать муки.
А мне? Дыханья перебой
привносит птица в грусть разлуки
с тобой, и только ли с тобой?

Дай что-нибудь! Дай обещастья!
Дай не принять мой час ночной
за репетицию прощанья
со всем, что так любимо мной.

20-е дни мая 1981

Таруса

НОЧЬ УПАДАНИЯ ЯБЛОК

Семёну Литкину

Уж август в половине. По откосам
по вечерам гуляют полушалки.
Пришла пора высокородным осам
навязываться кухням в приживалки.

Как женщины глядят в судьбу варенья:
лениво-зорко, неусыпно-слепо —
гляжу в окно, где обитает время
под видом истекающего лета.

Лишь этот образ осам для пирушки
пожаловал — кто не варил повидла.
Здесь закипает варево покруче:
живьём съедает и глядит невинно.

Со мной такого лета не бывало.
— Да и не будет! — слышу уверенье.
И вздрагиваю: яблоко упало,
на «НЕ» — извне поставив ударенье.

Жить припустилось вспугнутое сердце,
жаль бедного: так бьется кропотливо.
Неужто впрямь небытия соседство,
словно соседка глупая, болтливо?

Нет, это — август, упаданье яблок.
Я просто не узнала то, что слышу.
В сердцах, что собеседник непонятлив,
неоспоримо грохнуло о крышу.

Быть по сему. Чем кратче, тем дороже.
Так я сижу в ночь упаданья яблок.
Грызя и попирая плодородье,
жизнь милая идет домой с гулянок.

15—25 августа 1981

Таруса

ФЕВРАЛЬСКОЕ ПОЛНОЛУНИЕ

Пять дней назад, бесформенной луны
завидев неопрятный треугольник,
я усмехнулась: дерзок второгодник,
сложивший эти ямы и углы.

Сказала так — и оробела я.
Возможно ли оспорить птицелова,
загадочно изрекшего, что слово
вернуть в силоч трудней, чем воробья?

Назад, на двор! Нет, я не солгала.
В ней было меньше стати, чем изъяна.
Она Того забыла иль не знала,
чье имя — тайна. Глупая луна!

При ней ютилась прихвостень-звезда.
Был скушен вид их неприглядной связи.
И вялое влиянье чьей-то власти
во сне я отгоняла от виска.

Я не возьму луны какой ни есть.
Своей хочу! Я ей не раб подлунный.
И ужаснулся птицелов: подумай
пред тем, как словом вызвать гнев небес.

И он был прав. Послышалось: — Иди!
— Иду.— Быстрее! — Да уж куда быстрее.
Где валенки мои? — На батарее.
Оставь твой вздор, иди и жди беды.

Эх, валенки! Ваш самотворный бег
привадился к дороге на Пачёво.
Беспечны будем. Гнев небес печется
о нашем ходе через торный снег.

Я глаз не открывала, повредить
им опасаясь тем, что ум предвидел.
Пойдем вслепую — и куда-то выйдем.
Неведом путь. Всевидящ поводырь.

— Теперь смотри.— Из чащи над Окой
она восстала пламенем округлым.
Ту грань ее, где я прозрела угол,
натягивал и насыщал огонь.

Навстречу ей вставал ответный блеск.
Да, это лишь. Всё прочее не полно.
Не снёс бы глаз блистающего поля,
когда б за ним не скромно-черный лес.

Но есть ли впрямь Пачёво? Есть ли я?
Где обитает Тот, чье имя — тайна?
Пусть мимолетность бытия случайна,
есть вечный миг вблизи небытия.

Мой — узнан мною и отпущен мной.
Вот здесь, где шла я в сторону Пачёва,
он без меня когда-нибудь очнется,
в снегах равнин, под полную луну.

Увы, поимщик воробьиных бегств.
Зачем равнинам предвещать равнины?
Но лишь когда слова непоправимы,
устам отверстым оправданье есть.

Мороз и снег выпрашивают слёз,
и я не прочь, чтоб слёзы заблестели.
Три дня не открывала я постели,
и всяк мне дик, кто спросит: как спалось?

Всю ночь вокруг окон за луной иду.
Вот крайнее. Девятый час в начале.
Сопроводив ее до светлой дали,
вернусь к окну исходному — и жду.

8—9 февраля 1982
Таруса

ГУСИНЫЙ ПАРКЕР

Льву Конелеву

Когда, под бездной многостройной,
вспять поля белого иду,
восход моей звезды настольной
люблю я возыметь в виду.

И кажется: ночной равниной,
чья даль темна и грозен верх,
идет, чужим окном хранимый,
другой какой-то человек.

Вблизи завидев бесконечность,
не удержался б он в уме,
когда б не чьей-то жизни встречность,
одна в неисчислимой тьме.

Кто тот, чьим горестным уделом
терзаюсь? Вдруг не сыт ничем?
Униженный, скитался где он?
Озябший, сыщет ли ночлег?

Пусть будет мной — и поскорее,
вот здесь, в мой лучший час земной.
В других местах, в другое время
он прогадал бы, ставши мной.

Оставив мне снегов раздолье,
вот он свернул в мое тепло.
Вот в руки взял мое родное
злато-гусиное перо.

Ему кофейник бодро служит.
С пирушки шлют гонца к нему.
Но глаз его раздумьем сужен,
и ум его брезглив к вину.

А я? В Ладыжинском овраге
коли не сгину — огонек
увиджу и вздохну: навряд ли
дверь продавщица отомкнет.

Эх, тьма, куда не пишут письма!
Что продавщица! — у ведра
воды не выпросишь напиться:
рука слаба, вода — тверда.

До света нового, до жизни
мне б на печи не дотянуть,
но ненавистью к продавщице
душа спасется как-нибудь.

Зачем? В помине нет аванса.
Где вы, моих рублей дружки?
А продавщица — самовластна,
как ни грози, как ни дрожи.

Ну, ничего, я отскитаюсь.
С получки я развею грусть:
и с продавщицей расквитаюсь,
и с тем солдатом разберусь.

Ты спятил, Паркер, ты ошибся!
Какой солдат? — Да тот, узбек.
Волчицей стала продавщица
в семь без пяти. А он — успел.

Мой Паркер, что тебе в Ладыге?
Очнись, ты родом не отсель.
Зачем ты предпочел латыни
докуку наших новостей?

Светает во снегах отчизны.
А расторопный мой герой
еще гостит у продавщицы:
и смех, и грех, и пир горой.

Там пересуды у колодца.
Там масленицы чад и пыл.
Мой Паркер сбивчиво клянется,
что он там был, мёд-пиво пил.

Мой несравненный, мой гусиный,
как я люблю, что ты смешлив,
единственный и неусыпный
сообщник тайных слёз моих.

23—25 февраля 1982
Таруса

РОД ЗАНЯТИЙ

Упорствуешь. Не хочешь быть. Прощай,
мое стихотворенье о десятом
дне февраля. Пятнадцатый почат
день февраля. Восхода недостаток

мне возместил предутренний не-цвет,
какой в любом я уличаю цвете.
Но эту смесь составил фармацевт,
нам возбранивший думать о рецепте.

В сей день покаюсь пред прошедшим днем.
Как ты велел, мой лютый исповедник,
так и летит мой помысел о нем
черемуховой осыпью под веник.

Печально озираю лепестки —
клочки моих писаний пятинощных.
Я погубитель лун и солнц. Прости.
Ты в этом неповинна, печь-сообщник.

Пусть небеса прочтут бессвязный дым.
Диктанта их занесшийся тупица,
я им пишу, что Сириус — один
у них, но рядом Орион толпится.

Еще пишу: всё началось с луны.
Когда-то, помню, я щекою льнула
к чему-то, что не властно головы
угомонить в условиях полнолуния.

Как дальше, печь? Десятое. Темно.
Тень птичьих крыл метнулась из оврага.
Не зря мое главнейшее окно
я в близости зари подозревала.

Нет, Ванька-мокрый не возжег цветка.
Жадней меня он до зари охотник.
Что там с Окой? — Черным-бела Ока,—
мне поклялись окно и подоконник.

Я ринулась к обратному окну:
— А где луна? — ослепнув от мороза,
оно или не видело луну,
или гнушалось глупостью вопроса.

Оплошность дрёмы взору запретив,
ушла, его бессонницей пресытясь!
Где раболепных букв и запятых
сокрылся самодержец и проситель?

Где валенки? Где двери? Где Ока?
Ум неусыпный — слаб, а любопытен.
Луну сопровождали три огня.
Один и не скрывал, что он — Юпитер.

Чуть полнокружбя ночь себе взяла,
но яркости его не повредила.
А час? Седьмой, должно быть, и весьма.
Уж видно, что заря неотвратима.

Я оглянулась, падая к Оке.
Вон там мой Ванька, там мои чернила.
Связь меж луной и лампою в окне
так коротка была, так очевидна.

А там внизу, над розовым едва
(еще слабей... так будущего лета
нам роза нерасцветшая видна
отсутствием и обещаньем цвета...

в какое слово мысль ни окунем,
заря предстанет ясною строкою,
в конце которой гаснет огонек
в селе, я улыбнулась, за рекою...) —

там блеск вставал и попирал зарю.
Единственность, ты имени не просишь,
и только так тебя я назову.
Лишь множества — не различить без прозвищ.

Но раб, в моей ютящийся крови,
чей горб мою вытягивает ношу,
поднявший к небу черные круги,
воздвигший то, что я порву и брошу,

смотрел в глаза родному Божеству.
Сильней и ниже остального неба
сияло то, чего не назову.
А он — молился и шептал: Венера...

Что было дальше — от кого узнать?
На этом и застопорились строки.
Я постояла и пошла назад.
Слепой зрачок не разбирал дороги.

В луне осталось мало зримых свойств.
Глаз напрягался, чтоб ее проведать,
зато как будто прозревал насквозь
прозрачно-беззащитную поверхность.

В девять часов без четверти она
за паршинское канула заснежье.
Ей нет возврата. Рознь луне луна.
И вечность дважды не встречалась с ней же.

Когда зайдет — нет ничего взамен.
Упустишь — плачь о мире запредельном.
Или воспой, коль хочешь возыметь,—
и плачь о полнолуные самодельном.

В тот день через одиннадцать часов
явилась пеклом выпуклым средь сосен,
и робкий круг, усопший средь лесов,
ей не знаком был, мало — что не родствен.

К полуночи уменьшилась. Вдоль глаз
промчалась вместе с мраком занебесным.
Укрылась в мутных нетях. Предалась
не Пушкинским, а беспризорным бесам.

Безлунно и бесплодно дни текли.
Раб огрызался, обратиться если
с покорной просьбой. Где его стишки?
Не им судить о безымянном блеске.

О небе небу делают доклад.
Дай бездны им! А сами — там, в трясине
былого дня. Его луну догнать
в огне им будет легче, чем в корзине.

Вернусь туда, где и стою: в не-цвет.
Он осторожен и боится сглазу.
Что ты такое? — Сдержанный ответ
не всякий может видеть и не сразу.

Он — нелюдим, его не нарекли
эпитетом. О пылкость междометья,
не восхваляй его и не груби
пугливому мгновенью междущветья.

Вот-вот вспугнут. Расхожая лыжня
простёрта пред зарядкою заядлой.
В столь ранний час сюда тащусь лишь я.
Но что за холод! Что за род занятий!

Устала я. Мозг застлан синевой.
В одну лишь можно истину вглядеться:
тот ныне день, в который Симеон
спас смерть свою, когда узрел Младенца.

Приёмыш я иль вовсе сирота
со всех сторон глядящего пространства?
Склонись ко мне, о Ты, кто сорока
дней от роду мог упокоить старца.

Зов слышался... нет, просьба... нет, мольба...
Пришла! Но где была? Что с нею случилось?
Иль то усталость моего же лба,
восплывши в небо, надо мной смеялась?

Полулуна изнемогала без
полулуны. Где раздобыть вторую?
Молчи, я знаю, счетовод небес!
Твоя — при ней, я по своей горюю.

Но весело взбиралась я на холм.
Испуг сорочий ударял в трещотки.
И, пышущих здоровьем и грехом,
румяных лыжниц проносились щёки.

На понедельник Сретенье пришлось,
и нас не упасло от встреч никчемных.
Сосед спросил: «Как нынче вам спалось?»
Что расскажу я о моих ночевках?

Со мной в соседях — старый господин.
Претерпевая этих мест унынье,
склоняет он матерьялизм седин
и в кушанье, и в бесполезность книги.

Я здесь давно. Я приняла уклад
соседств, и дружб, и вспылчивых объятий.
Но странен всем мой одинокий взгляд
и непонятен род моих занятий.

Февраль 1982

Таруса

ПРОГУЛКА

Как вольно я брожу, как одиноко.
Оступишься — затянет небосвод.
В рассеянных угодах Ориона
не упасть от мысли обо всём.

— О чём, к примеру? — Кто так опрометчив,
чтоб спрашивать? Разъятой бездны средь
нам приоткрыт лишь маленький примерчик
великой тайны: собственная смерть.

Привнесена подробность в бесконечность —
роднее стал её сторонний смысл.
К вселенной недозволенная нежность
дрожаньем спектров виснет меж ресниц.

Еще спросить возможно: Пушкин милый,
зачем непостижимость пустоты
ужасною воображать могилой?
Не лучше ль думать: это там, где Ты.

Но что это чернеет на дороге
злей, чем предмет, мертвей, чем существо?
Так оторопь коню вступает в ноги
и рвется прочь безумный глаз его.

— Позор! Иди! Ни в чём не виноватый
там столб стоит. Вы столько раз на дню
встречаетесь, что поля завсегдатай
давно тебя считает за родню.

Чем он измучен? Почему так страшен?
Что сторожит среди пустых равнин?
И голосом докучливым и старшим
какой со мной наставник говорит?

— О чём это? — Вот самозванца наглость:
моим надбровным взгорбьем излучен,
со мною же, бубня и запинаясь,
шептаться смел — и позабыл о чём!

И раздаётся добрый смех небесный:
вдоль пропасти, давно примечен ей,
кто там идет вблизи всемирных бедствий
окрайной своих последних дней?

Над ним — планет плохое предсказанье.
Весь скарб его — лишь нищета забот.
А он, цветными упоен слезами,
столба боится, Пушкина зовет.

Есть что-то в нём, что высшему расчету
не подлежит. Пусть продолжает путь.
И нежно-нежно дышит вечность в щёку,
и сладко мне к ее теплыни льнуть.

1 марта 1982
Таруса

ЛЕБЕДИН МОЙ

Всё в лес хожу. Заел меня репей.
Не разберусь с влюбленною колючкой:
она ли мой, иль я ее трофей?
Так и живу в губернии Калужской.

Рыбак и я, вдвоем в ночи сидим.
Меж нами — рощи соловьев всенощных.
И где-то: Лебедин мой, Лебедин —
заводит наш невидимый сообщник.

Костер внизу, и свет в моём окне —
в союзе тайном, в сговоре иль в споре.
Что думает об этом вот огне
тот простодушный, что погаснет вскоре?

Живем себе, не ищем новостей.
Но иногда и в нашем курслепе
гостит язык пророчеств и страстей
и льется кровь, как в Датском королевстве.

В ту пятницу, какого-то числа —
еще моя черемуха не смерклаась —
соотносили ласточек крыла
глушь наших мест и странствий кругосветность.

Но птичий вздор души не бережил
мечтаньем о теплых тридесятих.
Возлюбим, Лебедин мой, Лебедин,
прокорма убыль и снегов достаток.

Да, в пятницу, чей приоткрытый вход
в субботу — всё ж обидная препона
перед субботой, весь честной народ
с полдня искал веселья и приволья.

Ладыжинский задиристый мужик,
истопником служивший по соседству,
еще не знал, как он непрочно жив
вблизи субботы, подступившей к сердцу.

Но как-то он скучал и тосковал.
Ему не полегчало от аванса.
Запасся камнем. Поманил: — Байкал! —
Но не таков Байкал, чтоб отозваться.

Уж он-то знает, как судьбы бежать.
Всяк брат его — здесь мертв или калека.
И цел лишь тот, рожденный обожать,
кто за версту обходит человека.

Развитие событий торопя,
во двор вошли знакомых два солдата,
желая наточить два топора
для плотницких намерений стройбата.

К точильщику помчались. Мотоцикл —
истопника, чей обречен затылок.
Дождь моросил. А вот и магазин.
Купили водки: дюжину бутылок.

— Куда вам столько, черти? — говорю, —
показывала утром продавщица.
Ответили: — Чтоб матушку твою
нам помянуть, а после похмелиться.

Как воля весела и велика!
Хоть и не всё меж ними ладно было.
Истопнику любезная Ока
для двух других — насильная чужбина.

Он вдвое старше и умнее их —
не потому, чтоб школа их учила
по-разному, а просто истопник
усмешливый и едкий был мужчина.

Они — моложе вдвое и пьяней.
Где видано, чтоб юность лебезила?
Нелепое для пришлых их ушей,
их раздражало имя Лебедина.

В удушливом насупленном уме
был заперт гнев и требовал исхода.
О том, что оставалось на холме,
два беглеца не думали нисколько.

Как страшно им уберегать в лесах
родимой жизни бедную непрочность.
Что было в ней, чтоб так ее спасать
в березовых, опасно-светлых рощах?

Когда субботу к нам послал восток,
с того холма, словно дымок ленивый,
воспыл души невзрачный завиток
и повисел недолго над Ладыгой.

За сорок верст сыскался мотоцикл.
Бег загнанный будет изловлен в среду.
Хоть был нетрезв, кто топоры точил,
возмездие шло по прямому следу.

Мой свет горит. Костер внизу погас.
Пусть скрип чернил над непросохшим словом
как хочет, так распутывает связь
сюжета с непричастным рыболовом.

Отпустим спать чужую жизнь. Один
рассудок лампы бодрствует в тумане.
Ответствуй, Лебедин мой, Лебедин,
что нужно смерти в нашей глухомани?

Печальный от любви и от вина,
уж спрашивает кто-то у рассвета:
— Где, Лебедин, лебедушка твоя? —
Идут века. Даль за Окой светла.
И никакого не слышать ответа.

1982

ПАЛЕЦ НА ГУБАХ

По улице крадусь. Кто бедный был Алферов,
чьим именем она наречена? Молчи!
Он не чета другим, замешанным в аферах,
к владениям чужим крадущимся в ночи.

Весь этот кособок был некогда кладбищем.
Здесь Та хотела спать... ненадобно! Не то —
опять возьмутся мстить местам, ее любившим.
Тсс: палец на губах! — забылось, пронесло.

Я летом здесь жила. К своей же тени в гости
зачем мне не пойти? Колодец, здравствуй, брат.
Алферов, будь он жив, не жил бы на погосте.
Ах, не ему теперь гнушаться тем, что прах.

А вот и дом чужой: дом-схимник, дом-изгнанник.
Чердачный тусклый круг — его зрачок и взгляд.
Дом заточен в себя, как выйти — он не знает.
Но как душа его вокруг свободен сад.

Сад падает в Оку обрывисто и узко.
Но оглянулся сад и прянул вспять холма.
Дом ринулся ко мне, из цепких стен рванулся —
и мне к нему нельзя: забор, замок, зима.

Дом, сад и я — втроём причастны тайне важной.
Был тих и одинок наш общий летний труд.
Я — в доме, дом — в саду, сад — в сырости овражной,
вдыхала сырость я — и замыкался круг.

Футляр, и медальон, и тайна в медальоне,
и в тайне — тайна тайн, запретная для уст.
Лишь смеркнется — всегда слетала к нам Тальони:
то флоксов повисал прозрачно-пышный куст.

Террасу на восход — оранжевым каким-то
затмили полотном, усилившим зарю.
У нас была игра: где потемней накидка? —
смеялась я,— пойду калитку отворю.

Пугались дом и сад. Я шла и отворяла
калитку в нижний мир, где обитает тень,—
чтоб видеть дом и сад из глубины оврага
и больше ничего не видеть, не хотеть.

Оранжевый, большой, по прозвищу: мещанский —
волшебный абажур сиял что было сил.
Чтобы террасы цвет был совершенно счастлив,
оранжевый цветок ей сад преподносил.

У нас — всегда игра, у яблони — работа.
Знал беспризорный сад и знал бездомный дом,
что дом — не для житья, что сад — не для оброка,
что дом и сад — для слёз, для праведных трудов.

Не ждали мы гостей, а наезжали если —
дом лгал, что он — простака, сад начинал грустить
и делал вид, что он печется о семействе
и надобно ему идти плодоносить.

Съезжали! — и тогда, как принято: от печки —
пускались в пляс все мы и тени на стене.
И были в эту ночь прилежны и беспечны
мой закадычный стол и лампа на столе.

Еще там был чердак. Пока не вовсе смерклось,
дом, сад и я — на нём летали в даль, в поля.
И белый парус плыл: то Бёховская церковь,
чтоб нас перекрестить, через Оку плыла.

Вот яблони труды завершены. Для зренья
прелестны их плоды, но грустен тот язык,
которым нам велят глухие ударенья
с мгновеньем изжитым прощаться каждый миг.

Тальони, дождь идет, как вам снести понурость?
Пока овраг погряз в заботах о грибах,
я книгу попрошу, чтоб Та сюда вернулась,
чьи эти дом и сад... тсс: палец на губах.

К делам других садов был сад не любопытен.
Он в золото облек тот дом внутри со мной
так прочно, как в предмет вцепляется эпитет.
(В саду расцвел пример: вот шар, он — золотой.)

К исходу сентября приехал наш хозяин,
вернее, только их. Два ужаса дрожат,
склоняясь перед тем, кто так и не узнает,
какие дом и сад ему принадлежат.

На дом и сад моя слеза не оглянулась.
Давно пора домой. Но что это: домой?
Вот почему средь всех на свете сущих улиц
мне ваша так мила, Алферов, милый мой.

Косится домосед: что здесь проходим надо?
Кто низко так глядит, как будто он горбат?
То — я. Я ухожу от дома и от сада.
Навряд ли я вернусь. Тсс: палец на губах...

1982

СИРЕНЕВОЕ БЛЮДЦЕ

Мозг занемог: весна. О воду капли бьются.
У слабоумья есть застенчивый секрет:
оно влюбилось в чушь раскрашенного блюда,
в юродивый узор, в уродицу сирень.

Куст-увалень, холма одышливый вельможа,
какой тебя вписал невежа садовод
в глухую ночь мою и в тот, из Велегожа
идуший, грубый свет над льдами Окских вод?

Нет, дальше, нет, темней. Сирень не о сирени
со мною говорит. Бесхитростный фарфор
про детский цвет полей, про лакомство сурепки
навязывает мне насильно-кроткий вздор.

В закрытые глаза — уездного музея
вдруг смотрит натюрморт, чьи ожили цветы,
и бабушки моей клубится бумазея,
иль как зовут крыла старинной нищеты?

О, если б лишь сирень! — я б вспомнила окраин
сады, где посреди изгоев и кутил
жил сбивчивый поэт, книгочий и архаик,
себя нарекший в честь прославленных куртин.

Где бедный мальчик спит над чудною могилой,
не помня: навсегда или на миг уснул,—
поэт Сиренев жил, цветущий и унылый,
не принятый в журнал для письменных услуг.

Он сразу мне сказал, что с этими и с теми
людьми он крайне сух, что дни его придут:
он станет знаменит, как крестное растение.
И улыбалась я: да будет так, мой друг.

Он мне дарил сирень и множества сонетов,
белели здесь и там их пышные венки.
По вечерам — живей и проще жил Сиренев:
красавицы садов его к Оке влекли.

Но всё ж он был гордец и в споре неуступчив.
Без славы — не желал он продолженья дней.
Так жизнь моя текла, и с мальчиком уснувшим
являлось сходство в ней всё ярче и грустней.

Я съехала в снега, в те, что сейчас сгорели.
Где терпит мой поэт влияния весны?
Фарфоровый портрет веснушчатой сирени
хочу я откупить иль выкрасть у казны.

В моём окне висит планет тройное пламя.
На блюде роковом усталый чай остыл.
Мне жаль твоих трудов, доверчивая лампа.
Но, может, чем умней, тем бесполезней стих.

Февраль — март 1982

Таруса

ДЕНЬ-РАФАЭЛЬ

Чабуа Амирэджиби

Пришелец День, не стой на розовом холме!
Не дай, чтобы заря твоим чертам грубила.
Зачем ты снизошел к оврагам и ко мне?
Я узнаю тебя. Ты родом из Урбино.

День-Божество, ступай в Италию свою.
У нас еще зима. У нас народ балует.
Завистник и горбун, я на тебя смотрю
и край твоих одежд мой тайный гнев целует.

Ах, мало оспы щёк и гнилости в груди,
еще и кисть глупа и краски непослушны.
День-Совершенство, сгинь! Прочь от греха уйди!
Здесь за корсаж ножи всегда кладут пастушки.

Но ласково глядел Богоподобный День.
И брату брат сказал: «Брат досточтимый, здравствуй!»
Престольный праздник трёх окрестных деревень
впервые за века не завершился дракой.

Неузнанным ушел День-Свет, День-Рафаэль.
Но мертвый дуб расцвел средь ровных долины.
И благостный закат над нами розовел.
И странники всю ночь крестились на руины.

Февраль — март 1982

Таруса

САД-ВСАДНИК

За этот ад,
за этот бред
пошли мне сад
на старость лет.

Марина Цветаева

Сад-всадник летит по отвесному склону.
Какое сверканье и буря какая!
В плаще его черном лицо мое скрою,
к защите его старшинства приникая.

Я помню, я знаю, что дело нечисто.
Вовек не бывало столь позднего часа,
в котором сквозь бурю он скачет и мчится,
в котором сквозь бурю один уже мчался.

Но что происходит? Кто мчится, кто скачет?
Где конь отыскался для всадника сада?
И нет никого, но приходится с каждым
о том толковать, чего знать им не надо.

Сад-всадник свои покидает уголья,
и гриву коня в него ветер бросает.
Одною рукою он держит поводья,
другую мой страх на груди упасает.

О сад-охранитель! Невиданно львиный
чей хвост так разгневан? Чья блещет корона?
— Не бойся! То — длинный туман над равниной,
то — желтый заглавный огонь Ориона.

Но слышу я голос насмешки всевластной:
— Презренный младенец за пазухой отчей!
Короткая гибель под царскою лаской —
навечнее пагубы денной и ночной.

О всадник-родитель, дай тьмы и теплыни!
Вернемся в отчизну обрыва-отшиба!
С хвостом и в короне смеется: — Толпы ли,
твои ли то речи, избранник-ошибка?

Другим не бывает столь позднего часа.
Он впору тебе. Уж не будет так поздно.
Гнушаюсь тобою! Со мной не прощайся!
Сад-всадник мне шепчет: — Не слушай, не бойся.

Живую меня он приносит в обитель
на тихой вершине отвесного склона.
О сад мой, заботливый мой погубитель!
Зачем от Царя мы бежали Лесного?

Сад делает вид, что он — сад, а не всадник,
что слово Лесного Царя отвратимо.
И нет никого, но склоняюсь пред всяким:
всё было дано, а судьбы не хватило.

Сад дважды играет с обрывом родимым:
с откоса в Оку, как пристало изгою,
летит он нырлящиком необратимым
и увальнем вымокшим тащится в гору.

Мы оба притворщики. Полночью чёрной,
в завременье позднем, сад-всадник несется.
Ребенок, Лесному Царю обреченный,
да не убоится, да не упасется.

1982

СМЕРТЬ СОВЫ

Кривая Нинка: нет зубов, нет глаза.
При этом — зла. При этом... Боже мой,
кем и за что наведена проказа
на этот лик, на этот край глухой?

С получки загуляют Нинка с братом —
подробности я удержу в уме.
Брат Нинку бьет. Он не рожден горбатым:
отец был строг, век вековал в тюрьме.

Теперь он, слышно, старичок степенный —
да не пускают дети на порог.
И то сказать: наш километр — сто первый.
Злодеи мы. Нас не жалеет Бог.

Вот не с получки было. В сени к Нинке
сова внеслась.— Ты не коси, а вдарь!
Ведром ее! Ей — смерть, а нам — поминки.
На чучело художник купит тварь.

И он купил. Я относил книгу
художнику и у его дверей
посторонилась, пропуская Нинку,
и, как всегда, потупилась при ней.

Не потому, что уродились розно,—
наоборот, у нас судьба одна.
Мне в жалостных чертах ее уродства
видна моя погибель и вина.

Вошла. Безумье вспомнило: когда-то
мне этих глаз являлась нагота.
В два нежных, в два безвыходных агата
смерть Божества смотрела — но куда?

Умеет так, без направленья взгляда,
звезда смотреть иль то, что ей сродни,
то, старшее, чему уже не надо
гадать: в чём смысл? — отверстых тайн среди.

Какой ценою ни искупим — вряд ли
простит нас Тот, кто нарядил сову
в дрожь карих радуг, в позолоту ряби,
в беспомощную белизну свою.

Очнулась я. Чтобы столиц приветы
достигли нас, транзистор поднял крик.
Зловещих лиц пригожие портреты
повсюду улыбались вкось и вкривь.

Успела я сказать пред расставаньем
художнику: — Прощайте, милый мэтр.
Но как вы здесь? Вам, с вашим рисованьем,—
поблажка наш сто первый километр.

Взамен зари — незнаемого цвета
знак розовый помедлил и погас,
словно вопрос, который ждал ответа,
но не дождался и покинул нас.

Жива ль звезда, я думала, что длится
передо мною и вокруг меня?
Или она, как доблестная птица,
умеет быть прекрасна и мертва?

Смерть: сени, двух уродов перебранка —
но невредимы и горды черты.
Брезгливости посмертная осанка —
последний труд и подвиг красоты.

В ночи трудился сотворитель чучел.
К нему с усмешкой придвигался ад.
Вопль возносился: то крушил и мучил
сестру кривую синегорбый брат.

То мыслью занимаюсь я, то ленью.
Не время ль съехать в прежний неуют?
Всё медлю я. Всё этот край жалею.
Всё кажется, что здесь меня убьют.

1982

ГРЕБЕННИКОВ ЗДЕСЬ ЖИЛ...

Евгению Попову

Гребенников здесь жил. Он был богач и плут,
и километр ему не повредил сто первый.
Два дома он имел, а пил, как люди пьют,
хоть людям говорил, что оснащен торпедой.

Конечно, это он бахвалился, пугал.
В беспамятстве он был холодным, дальновидным.
Лафитник старый свой он называл: бокал —
и свой же самогон именовал лафитом.

Два дома, говорю, два сада он имел,
два пчельника больших, два сильных огорода,
и всё — после тюрьмы. Болтают, что расстрел
сперва ему светил, а отсидел три года.

Он жил всегда один. Сберкнижки — тоже две.
А главное — скопил характер знаменитый.
Спал дома, а с утра ходил к одной вдове.
И враждовал всю жизнь с сестрою Зинаидой.

Месткомом звал её и членом ДОСААФ.
Она жила вдали, в юдоли оскуденья.
Всё б ничего, но он, своих годков достав,
боялся, что сестре пойдут его владенья.

Пивная есть у нас. Ее зовут «метро»,
понятно, не за шик, за то — что подземелье.
Гребенников туда захаживал. «Ты кто?» —
спросил он мужика, терпящего похмелье.

Тот вспомнил: «Я — Петров». — «Ну, — говорит, —
Петров, хоть в майке ты пришел, в рубашке ты родился.
Ты тракторист?» — «А то!» — «Двадцать тракторов
тебе преподношу». Петров не рассердился.

«Ты лучше мне поставь». — «Придется потерпеть.
Помру — тогда твои всемирные бокалы.
Уж ты, брат, погудишь — в грядущем. А теперь
подробно изложи твои инициалы».

Петров иль не Петров — не в этом смысл и риск.
Гребенников — в райцентр. Там выпил перед щами.
«Где, — говорит, — юрист?» — «Вот, — говорят, — юрист». —
«Юрист, могу ли я составить завещанье?» —

«Извольте, если вы — в отчетливом уме.
Нам нужен документ». — Гребенников всё понял.
За паспортом пошел. Наведался к вдове.
В одном из двух домов он быстротечно помер.

И в двух его садах, и в двух его домах,
в сберкнижках двух его — мы видим Зинаиду.
Ведь даже в двух больших отчетливых умах
такую не вместить ошибку и обиду.

Гребенников с тех пор является на холм
и смотрит на сады, где царствует сестрѣнка.
Уходит он всегда пред третьим петухом.
Из смерти отпуск есть, не то что из острога.

Так люди говорят. Что было делать мне?
Пошла я в те места. Туманностью особой
Гребенников мерцал и брезжил на холме.
Не скажешь, что он был столь видною персоной.

«Зачем пришла?» — «Я к вам имею интерес». —
«Пошла бы ты отсель домой, литература.
Вы обещали мне, что справедливость — есть?
Тогда зачем вам — всё, а нам — прокуратура?»

Приехал к нам один писать про край отцов.
Все дети их ему хоромы возводили.
Я каторгой учён. Я видел подлецов.
Но их в сырой земле ничем не наградили.

Я слышал, как он врёт про лондонский туман.
Потом привёз комбайн. Ребятам, при начальстве,
заметил: эта вещь вам всем не по умам.
Но он опять соврал: распалась вещь на части». —

«Гребенников, но я здесь вовсе ни при чём». —
«Я знаю. Это ты гноила летом угол
меж двух моих домов. Хотел я кирпичом
собачку постращать, да после передумал». —

Я летом здесь жила, но он уже был мёртв.
«Вот то-то и оно, вот в том-то и досада, —
ответил телепат. — Зачем брала ты мёд
у Зинки, у врага, у члена ДОСААФа?»

Слышь, искупи вину. Там у меня в мешках
хранится порошок. Он припасён для Зинки.
Ты к ней на чай ходи и сыпь ей в чай мышьяк.
Побольше дозу дай, а начинай — с дозинки». —

«Гребенников, Вы что? Ведь вы и так в аду?» —
«Ну, и какая мне опасна перемена?
Пойми, не деньги я всю жизнь имел в виду.
Идея мне важна. Всё остальное — бренно».

Он всё еще искал занятий и грехов.
Наверно, скучно там, особенно сначала.
Разрозненной в ночи ораве петухов
единственным своим Пачёво отвечало.

Хоть исподволь, спроста наш тихий край живет,
событья есть у нас, привыкли мы к утратам.
Сейчас волнует нас движение полых вод,
и тракторист Петров в них устремил свой трактор.

Он агрегат любил за то, что — жгуче-синь.
Раз он меня катал. Спаслись мы Высшей силой.
Петров был неимущ. Мне жаль расстаться с ним.
Пусть в Серпухов плывет его кораблик синий.

Смерть пристально следит за нашей стороной.
Закрыли вдруг «метро». Тоскует люд смиренный.
То мыслит не как все, то держит за спиной
придирчивый кастет наш километр сто первый.

Читатель мой, прости. И где ты, милый друг?
Что наших мест тебе печали и потехи?
Но утешенье в том, что волен твой досуг.
Ты детектив другой возьмешь в библиотеке.

Февраль — март 1982
Таруса

ПЕЧАЛИ И ШУТОЧКИ: КОМНАТА

В ту комнату, где прошлою зимой
я приютила первый день весенний,
где мой царевич, оборотень мой,
цвел Ванька-мокрый, мокрый и воспетый...

Он и теперь стоит передо мной,
мой конфидент и пристальный ревнивец.
Опять полужимой, полувесной
над ним слова моей любви роились.

Ах, Ванька мой, ты — все мои сады.
Пусть мне простит твой добродушный гений,
что есть другой друг сердца и судьбы:
совсем другой, совсем не из растений.

Его любовь одна пеклась о том,
чтоб мне дожить до правильного срока,
чтоб из Худфонда позвонили в дом,
где снова я добра и одинока.

Фамилии причудливой моей
Наталия Ивановна не знала.
Решила: из начальственных детей,
должно быть, кто-то — не того ли зама,

он, помнится, башкир, как, бишь, его?
И то сказать: так башковит, так въедлив.
Ах, дока зам! Не знал он ничего
и ведомством своим давно не ведал.

Так я втеснилась в стены и ковёр,
которые мне были не по чину.
В коротком отступлении кривом
воздам хвалу опальному башкиру.

Меня и ныне всякий здесь зовет
лишь Белочкой иль Белкой не случайно.
Кто я? Зато здесь знаменит зверёк,
созвучье с ним дороже величанья.

...В ту комнату, о коей разговор
я начала по вольному влечению,
со временем вселился ревизор,
уже по праву и по назначению.

Его приезда цель — важна весьма:
беспечный медик пропил изолятор.
Но комната уже была умна,
и ум ее смешался и заплакал.

Зачем ей медицинские весы
и мысль о них? Не жаль ей аспирина.
Она привыкла, чтобы в честь звезды
я растворила кофе иль сварила.

Я думала: несчастный человек!
Он пропадет: решился он на что же?
Ведь в то окно, что двух других левей,
привнесено мое лицо ночное.

А главное, восходное, окно!
Покуда в нём главенствует Юпитер,
что будет с бедным, посягает кто
всего, что бrenно, исчислять убыток?

Не говорю про алый абажур
настойной лампы! По слепому полю
тащусь к нему, бывало, и бешусь:
так и следит, так и зовет в неволю.

Любая вещь — задиристый сосед
и сладит с постояльцем оробелым.
Шкаф с домовым — и тот не домосед
и рвется прочь со скрипом корабельным.

Но ревизор наружу выходил
не часто и держался суверенно.
Ключ повернув, он пил всегда один,
что остальные знали достоверно.

Не ведаю, он помышлял о чём,
подверженный влиянью роковому.
Но срок истёк. И вот какой отчёт
районному он подал прокурору:

«Похищены: весы, медикаменты
и крыша зданья, но стропила целы.
Вблизи комет несущихся — как мелки
комедьи нищей ценности и цены.

Итог растраты: восемь тысяч. Впрочем,
нулю он равен при надземном свете.
Весь уцелевший инвентарь испорчен,
но смысл его преувеличен в смете.

Числа не помню и не знаю часа.
Налью цветку любезному водицы.
Еще в окно мой дятел не стучался
и не смеялся я в ответ: войдите!

Но Сириус уже в заочность канул.
Я возлюбил его огня осанку.
Кто без греха — пусть в грех бросает камень.
А я — прощаюсь. Подаю в отставку».

Той комнаты ковёр и небосвод
жильцов склоняют к бреду и восторгу.
В ней с той поры начальство не живет.
Я заняла соседнюю светёлку.

А ревизор на самом деле пил
один. Хищенья скромному герою
суд не простил задумчивых стропил,
таинственно не подпиравших кровлю.

В ту комнату я больше не хожу.
Но комната ко мне в ночи крадется.
По ветхому второму этажу
гуляет дрожь, пол бедствует и гнется.

Люблю я дома маленькую жизнь,
через овраг бредущую с кошёлкой.
Вот наш пейзаж: пейзаж и пейзажист,
и солнце бьет в его этюдник желтый.

Здесь нет других прохожих — всяк готов
хоть как-нибудь изобразить округу.
Махну рукой: счастливых вам трудов! —
и улыбнемся ласково друг другу.

Мы — ровня, и меж нами распри нет.
Спаслись бы эти бедные равнины,
когда бы лишь художник и поэт
судьбу их беззащитную хранили.

Отъезд мой скорый мне внушает грусть.
Страдает заколдованный царевич.
Мой ненаглядный, я еще вернусь.
Ты под опекой солнца уцелеешь.

Последней ласки просят у пера
большие дни и вещи-попрошайки.
Наталия Ивановна, пора!
Душа моя, сердечный друг, прощайте.

Февраль — март 1982
Таруса

* * *

Воздух августа: плавность услад и услуг.
Положенье души в убывающем лете
схоже с каменным мальчиком, тем, что уснул
грациозней, чем камни, и крепче, чем дети.

Так ли спит, как сказала? Пойду и взгляну.
Это близко. Но трудно колени и локти
провести сквозь дрожащую в листьях луну,
сквозь густые, как пруд, сквозь холодные флоксы.

Имя слабо, но воля цветка такова,
что навяжет мотив и нанижет подробность.
Не забыть бы, куда я иду и когда,
вперив нюх в самовластно взрослеющий образ.

Сквозь растенья, сквозь хлёсткую чашу воды,
принимая их в жабры, трудясь плавниками,
продираюсь. Следы мои возле звезды
на поверхности ночи взошли пузырьками.

1982

Таруса

ЗАБЫТЫЙ МЯЧ

Забыли мяч (он досаждал мне летом).
Оранжевый забыли мяч в саду.
Он сразу стал сообщником календул
и без труда втесался в их среду.

Но как сошлись, как стройно потянулись
друг к другу. День свой учредил зенит
в календулах. Возможно, потому лишь,
что мяч в саду оранжевый забыт.

Вот осени причина, вот зацепка,
чтоб на костре учить от тьмы до тьмы
ослушников, отступников от цвета,
чей абсолют забыт в саду детьми.

Но этот сад! Чей пересуд зеленым
его назвал? Он — поджигатель дач.
Все хороши. Но первенство — за клёном,
уж он-то ждал: когда забудут мяч.

Попался на нехитрую приманку
весь огонь земной. И, судя по всему,
он обыграет скромную ремарку
о том, что мяч был позабыт в саду.

Давно со мной забытый мяч играет
в то, что одна хожу среди осин,
смотрю на мяч и нахожу огарок
календулы. А вот еще один.

Минувший полдень был на диво ясен
и упростил неисчислимый быт
до созерцанья важных обстоятельств:
снег пал на сад и мяч в саду забыт.

2 октября 1982

* * *

Я лишь объём, где обитает что-то,
чему малы земные имена.
Сооруженье из костей и пота —
его угожья, а не плоть моя.

Его не знаю я: смысл-незнакомец,
вселившийся в чужую конуру —
хозяев выжить, прянуть в законность,
не оглянуться, если я умру.

О слово, о несказанное слово!
Оно во мне качается смелей,
чем я, в светопротитие небосклона,
качаюсь дрожью листьев и ветвей.

Каков окликнуть безымянность способ?
Не выговорю и не говорю...
Как слово звать — у словаря не спросишь,
покуда сам не скажешь словарю.

Мой притеснитель тайный и нетленный,
ему в тисках известного — тесно.
Я растекаюсь, становлюсь вселенной,
мы с нею заодно, мы с ней — одно.

Есть что-то. Слова нет. Но грозно кроткий
исток его уже любовь исторг.
Уж видно, как его грядущий контур
вступается за братьев и сестёр.

Как это всё темно, как бестолково.
Кто брат кому и кто кому сестра?
Всяк всякому. Когда приходит слово,
оно не знает дальнего родства.

Оно в уста целует бездыханность
и вдох ответа — явен и велик.
Лишь слово попирает бред и хаос
и смертным о бессмертье говорит.

1982

ЗВУК УКАЗУЮЩИЙ

Звук указующий, десятый день
я жду тебя на паршинской дороге.
И снова жду под полною луной.
Звук указующий, ты где-то здесь.
Пади в отверстой раны плодородье.
Зачем таишься и следишь за мной?

Звук указующий, пусть велика
моя вина, но велика и мука.
И чей, как мой, тобою слух любим?
Меня прощает полная луна.
Но нет мне указующего звука.
Нет звука мне. Зачем он прежде был?

Ни с кем моей луной не поделюсь,
да и она другого не полюбит.
Жизнь замечает вдруг, что — пред-мертва.
Звук указующий, я предаюсь
игре с твоим отсутствием подлунным.
Звук указующий, прости меня.

29—30 марта 1983

Таруса

НОЧЬ НА ТРИДЦАТОЕ МАРТА

В ночь на тридцатый марта день я шла
в пустых полях, при ветреной погоде.
Свой дальний звук к себе звала душа,
луну раздобывая в небосводе.

В ночь полнолуния не было луны.
Но где все мы и что случилось с нами
в ночи, не обитаемой людьми,
домишками, окошками, огнями?

Зиянья неба, сумрачно обняв
друг друга, ту являли безымянность,
которая при людях и огнях
условно мирозданьем называлась.

Сквозило. Это ль спутивало звук?
Четыре воли в поле, как известно.
И жаворонки всплакивали вдруг
в прозрачном сне — так нежно, так прелестно.

Пошла назад, в ту сторону, в какой
в кулисах тьмы событие созревало.
Я занавес, повисший над Окой,
в сокрытии луны подозревала.

И, маленький, меня окликнул звук —
живого неба воля и взаимность.
И прыгнула, как из веков разлук,
луна из туч и на меня воззрилась.

Внизу, вдали, под полною луной
алел огонь бесхитростного счастья:
приманка лампы, возожженной мной,
чтоб веселее было возвращаться.

31 марта 1983

Таруса

* * *

Зачем он ходит? Я люблю одна
быть у луны на службе обожанья.
Одною мной растрочена луна.
Три дня назад она была большая.

Ее размер не мною был взращен.
Мы свиделись — она была огромна.
Я неусыпным выпила зрачком
треть совершенно полного объема.

Я извела луну на пустяки.
Беспечен ум, когда безумны ноги.
Шесть километров вдоль одной строки:
бег-бред ночной по паршинской дороге.

Вчера бочком вошла в мое окно.
Где часть ее — вдруг лучшая? Неужто
всё это я? Не жёг другой никто
ее всю ночь, не дожигал наутро.

Боюсь узнать в апреля первый день,
что станет с ее недавней статью.
Так изнуряет издали злодей
невинность черт к ним обращенной страстью.

Он только смотрит — в церкви, на балу.
Молитвенник иль веер упадет
из дрожи рук. Не дав им на полу
и миг побыть, ее жених страдает.

Он смотрит, смотрит — сквозь отверстость стен,
в кисейный мир, за возбраненный полог.
В лик непорочный многознанья тень
привнесена. Что с ней — она не помнит.

Он смотрит. Как осунулось лицо.
И как худа. В нём — холодок свободы.
Вот жениху возвращено кольцо.
Всё кончено. Ее везут на воды.

Оплачу вкратце косвенный сюжет,
наскучив им. Он к делу не пригоден.
Я жду луну и завожу брегет.
Зачем ко мне он все-таки приходит?

— Кто к Вам приходит? И брегет при чём?
— А Вы-то кто? Вас нет, и не пристало
Вам задавать вопросы. Кто прочел
заране то, чего не написала?

Придуман мной лишь этот оппонент.
Нет у меня загадок без разгадок.
Живой и часто плачущий предмет —
брегет — мне добрый подарил Рязанов.

Приходит же... не бил ли он собак?
Он пустомелит, я храню молчанье.
Но пёс во мне, хоть принужден солгать,
загрибок дыбит и таит рычанье.

О нет, не преступаю я границ
приличья, но разросшийся вкруг сердца
ветвистый самовластный организм
не переносит этого соседства.

Идет! Часов непрочный голосок
берет он в руки. Бедный мой брегетик!
Я надвигаю тучу на восток,
чтоб он луны хотя бы не приметил.

И падает, и гибнет мой брегет!
Луны моей сообщник и помощник,
он распевал всегда под лунный свет,
он был — как я, такой же полуночник.

Виновник так подавлен и смущен,
что я ему прощаю незадачу.
Удостоверясь, что сосед ушел,
смеюсь над тем, как безутешно плачу.

В запасе есть не певчие часы.
Двенадцать ровно — и нисколько пенья.
И нет луны, хоть небеса ясны.
Как грубо шутит первый день апреля!

Пускаюсь в путь обычный. Ход планет
весь помещен над паршинской дорогой.
В час пополуночи иду по ней,
строки вот этой спутник одинокий.

Вот здесь, при мне, живет мое «всегда».
В нём погостить при жизни — редкий случай.
Смотрю извне, как из небес звезда,
на сей свой миг, еще живой и сущий.

Так странен и торжествен этот путь,
как будто он принадлежит чему-то
запретному: дозволено взглянуть,
но велено не разгласить под утро.

Иду домой. Нимало нет луны.
А что ж герой бессвязного рассказа?
Здесь взгорбье есть. С него глаза длинные.
Гость с комнатой моею не расстался.

Вон мой огонь. Под ним — мои стихи.
Вон силуэт читателя ночного.
Он, значит, до какой дошел строки?
Двенадцать было. Стало полвторого.

Ау! Но вы обидеться могли
на мой ответ придвинутым планетам.
Вас занимают выдумки мои?
Но как смешно, что дело только в этом.

Простите мне! Стихи всегда приврут.
До тайн каких Вы ищите дознаться?
Расстанемся, мой простодушный друг,
в стихах — навек, а наяву — до завтра.

Семь грустных дней безлунью моему.
Брежет молчит. В природе — дождь и холод.
И так темно, так боязно уму.
А где сосед? Зачем он не приходит?

1—2, 8 апреля 1983
Таруса

* * *

Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме:
то темный день густел в редеющих темнотах.
Проснулась я в слезах с Державиным в уме,
в запутанных его и заспанных тенётах.

То ль это мысль была невидимых светил
и я поймала сон, ниспосланный кому-то?
То ль Пушкин нас сводил, то ль сам он так шутил,
то ль вспомнила о нем недалёная Калуга?

Любовь к нему и грусть влекли меня с холма.
Спешили петухи сообщничать иль спорить.
Вставала в небесах Державину хвала,
и целый день о нём мне предстояло помнить.

20 апреля 1983

Таруса

ЛУНЕ ОТ РЕВНИВЦА

Явилась, да не вся. Где пол твоей красы?
Но ломаной твоей полушки полулунной
ты мне не возвращай. Я — вор твоей казны,
сокрывшийся в лесах меж Тулой и Калугой.

Бессонницей моей тебя обобрала,
всё золото твое в сусеках схоронившей,
и месяца ждала, чтоб кланчить серебра:
всегда он подавал моей ладони нищей.

Всё так. Но внове мне твой нынешний ущерб.
Как потрепал тебя соперник мой подлунный!
В апреля третий день за Паршино ушел,
чьей далее была вселенскою подругой?

У нас — село, у вас — селение свое.
Поселена везде, ты выбирать свободна.
Что вечности твоей ничтожность дня сего?
Наскучив быть всегда, пришла побыть сегодня?

Где шла твоя гульба в семнадцать ночах?
Не вздумай отвечать, что — в мирозданье где-то.
Я тоже в нём. Но в нём мой драгоценен час:
нет времени вникать в расплывчатость ответа.

Без помощи моей кто свёл тебя на нет?
Не лги про тень земли, иль как там по науке.
Я не учёна лгать и округлю твой свет,
чтоб стала ты полней, чем знает полнолуние.

Коль скоро у тебя другой какой-то есть
влюбленный ротозей и воздыхатель пылкий, —
всё возверну тебе! Мне щедрости не счесть.
Разгула моего будь скаредной копилкой.

Коль жаждешь — пей до дна черничный сок зрочка
и приторность чернил, к тебе подобострастных.
Покуда я за край растраты не зашла,
востребуй бытия пленительный остаток.

Не поскупись — бери питанье от ума,
пославшего тебе свой животворный лучик.
Исчадие мое, тебя, моя луна,
какой наследный взор в дар от меня получит?

Кто в небо поглядит и примет за луну
измыслие мое, в нём не поняв нимало?
Осыплет простака мгновенное «люблю!»,
которое в тебя всей жизнью врифмовала.

Заранее смешно, что смертному зрочку
дано через века разиню огорошить.
Не для того ль тебя я рыщу и — ращу,
как непомерный плод тщеславный огородник?

Когда найду, что ты невиданно кругла, —
за Паршино сошлю, в небесный свод заочный,
и ввысь не посмотрю из моего угла.
Прощай, моя луна! Будь вечной и всеобщей.

И веки притворю, чтобы никто не знал
о силе глаз, луну, словно слезу, исторгших.
Мой бесконечный взгляд всё будет течь назад,
на землю, где давно иссяк его источник.

20—24 апреля 1983

Таруса

ПАШКА

Пять лет. Изнежен. Столько же запуган.
Конфетами отравлен. Одинок.
То зацелуют, то задвинут в угол.
Побьют. Потом всплакнут: прости, сынок.

Учён вину. Пьют: мамка, мамкин Дядя
и бабкин Дядя — Жоржик-истопник.
— А это что? — спросил, на книгу глядя.
Был очарован: он не видел книг.

Впадает бабка то в болезнь, то в лихость.
Она, пожалуй, крепче прочих пьет.
В Калуге мы, но вскрикивает Липецк
из недр ее, коль песню запоем.

Играть здесь не с кем. Разве лишь со мною.
Кромешность пряток. Лампа ждет меня.
Но что мне делать? Слушай: «Буря мглою...»
Теперь садись. Пиши: эМ — А — эМ — А.

Зачем всё это? Правильно ли? Надо ль?
И так над Пашкой — небо, буря, мгла.
Но как доверчив Пашка, как понятлив.
Как грустно пишет он: эМ — А — эМ — А.

Так мы сидим вдвоём на белом свете.
Я — с черной тайной сердца и ума.
О, для стихов покинутые дети!
Нет мочи прочитать: эМ — А — эМ — А.

Так утекают дни, с небес роняя
разнообразье еженощных лун.
Диковинная речь, ему родная,
пленивает и меняет Пашкин ум.

Меня повсюду Пашка ждет и рыщет.
И кличет Белкой, хоть ни разу он
не виделся с моею тёзкой рыжей:
здесь род ее прилежно истреблен.

Как, впрочем, все собаки. Добрый Пашка
не раз оплакал лютую их смерть.
Вообще, наш люд настроен рукопашно,
хоть и живет смиренных далее средь.

Вчера: писала. Лишь заслышав: Белка! —
я резво, как одноименный зверь,
своей проворной подлости робея,
со стула — прыг и спряталась за дверь.

Значенье прятков сразу же постигший,
я этот взгляд вспомню в крайний час.
В щель поместился старший и простивший,
скорбь всех детей вобравший, Пашкин глаз.

Пустился Пашка в горький путь обратный.
Вослед ему всё воинство ушло.
Шли: ямб, хорей, анапест, амфибрахий
и с ними дактиль. Что там есть еще?

23 апреля (и ночью) 1983

Таруса

ПАЧЁВСКИЙ МОЙ

— Скучаете в своей глуши? — Возможно ль
занятым скушным называть апрель?
Всё сущее, свой вид и род возмножив,
с утра в трудах, как дружная артель.

Изменник-ум твердит: «Весной я болен»,—
а сам здоров, и всё ему смешно,
когда иду подглядывать за полем:
что за ночь в нём произошло-взошло.

Во всякий день — новёхонький, почётный
гость маленький выходит из земли.
И, как всегда, мой верный, мой Пачёвский,
лишь рассветет — появится из мглы.

— Он что же, граф? Должно быть, из поляков?
— Нет, здешний он и мной за то любим,
что до ничтожных титулов не лаком,
хотя уж он-то — не простолюдин.

— Из столбовых дворян? — Вот это ближе.—
Так весел мой и непомерен смех:
не нагляжусь сквозь брызнувшие блики
на белый мой, на семицветный свет.

— Он, видите ли... не могу! — Да полно смеяться Вам. Пачёвский — кто такой?
— Изгой и вместе вседержитель поля, он вхож и в небо. Он — Пачёвский мой.

— Но кто же он? Ваши слова окольные.
Не так уж здрав Ваш бедный ум весной.
— Да Вы-то кто? Зачем так бестолковы?
А вот и сам он — столб Пачёвский мой.

Так много раз, что сбились мы со счёта,
мой промельк в поле он имел в виду.
Коль повелит — я поверну в Пачёво.
Пропустит если — в Паршино иду.

Особенно зимою, при метели,
люблю его заполучить привет
иль в час, когда две наших сирых тени
в союз печальный сводит лунный свет.

Чтоб вдруг не смыл меня прибой вселенной
(здесь крут обрыв, с которого легко
упасть в созвездья), мой Пачёвский верный
ниспослан мне, и время продлено.

Строки моей потатчик и попутчик,
к нему приникших пауз властелин,
он ждёт меня, и бездна не получит
меня, покуда мы вдвоём стоим.

24—29 апреля 1983

Таруса

* * *

Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен.
Он так и полагал, поскольку люто-свежий
к нам вечер шел с Оки. А всё же это он
мне веточку принес черемухи расцветшей.

В Ладыжине, куда он по вино ходил,
чтобы ослабить мысль любви неразделенной,
черемухи цветок, пока еще один,
очнулся и глядел на белый свет зеленый.

За то и сорван был, что прежде всех расцвел,
с кем словно не в родстве, а в сдержанном соседстве.
Зачем чужой любви сторонний произвол
летает мимо нас, но уязвляет сердце?

Уехал Звёздкин вдруг, единственный этюд
не дописав. В сердцах порвал его — и ладно.
Он, говорят,— талант, а таковые — пьют.
Лишь гений здрав и трезв, хоть и не чужд таланта.

Со Звёздкиным едва ль мы свидимся в Москве.
Как робкая душа погибшего этюда —
таинственный цветок белеет в темноте
и Звёздкину вослед еще глядит отсюда.

Власть веточки моей в ночи так велика,
так зрим печальный чад. И на исходе суток
содеян воздух весь энергией цветка,
и что мои слова, как не его поступок?

28–29 апреля 1983

Таруса

НОЧЬ НА 30-е АПРЕЛЯ

Брат-комната, где я была — не спрашивай.
Ведь лунный свет — уже не этот свет.
Не в Паршино хожу дорогой паршинской,
а в те места, каким названья нет.

Там у земли всё небесами отнято.
Допущенного в их разъятый свод
охватывает дрожь чужого опыта:
он — робкий гость своих посмертных снов.

Вблизи звезда сияет неотступная,
и нет значений мельче, чем звезда.
Смущенный зритель своего отсутствия
боится быть не нынче, а всегда.

Не хочет плоть живучая, лукавая
про вечность знать и просится домой.
Беда моя, любовь моя, луна моя,
дай дотянуть до бренности дневной.

Мне хочется простейшего какого-то
нравоченья вещи и числа:
вот это, дескать, лампа, это — комната.
Тридцатый день апреля: два часа.

Но ничему не верит ум испуганный
и малых величин не узнаёт.
Луна моя, зачем втесняешь в угол мой
свои пожитки: ночь и небосвод?

В ночь на 30 апреля 1983
Таруса

СУББОТА В ТАРУСЕ

Так дружно весна начиналась: все други
дружины вступили в сады-огороды.
Но, им для острастки и нам для науки,
сдружились суровые силы природы.

Апрель, благодетельный к сирым и нищим,
явился южанином и инородцем.
Но мы по привычке к зиме и не ищем
потачки его. Обойдемся норд-остом.

Снега, отступив, нам прибавили славы.
Вот — землечерпалка со дна половодья
взошла, чтоб возглавить величие свалки,
насушной, поскольку субботник сегодня.

Но сколько же ярко цветущих коррозий,
диковинной, миром не знаемой, гнили
смогли мы содеять за век наш короткий,
чтоб наши наследники нас не забыли.

Субботник шатается, песню поющий.
Приёмник нас хвалит за наши свершенья.
При лютой погоде нам будет сподручней
приветить друг в друге черты вырожденья.

А вдруг нам откликнутся силы взаимны
пространства, что смотрит на нас обреченно?
Субботник окончен. Суббота — в зените.
В Тарусу я следую через Пачёво.

Но всё же какие-то русские печи
радеют о пище, исходят дымами.
Еще из юдоли не выпрягли плечи
пачёвские бабки: две Ньюры, две Мани.

За бабок пачёвских, за эти избушки,
за кладни, за желто-прозрачную иву
кто просит невидимый: о, не забудь же! —
неужто отымут и это, что иму?

Деревня — в соседях с нагрывавшей дурью
захватчиков неприкасаемой выси.
Что им-то неймется? В субботу худую
напрасно они из укрытия вышли.

Буксуют в грязи попиратели неба.
Мои сапоги достигают Тарусы.
С Оки задувает угрозой снега.
Грозу предрекают пивной златоусты.

Сбывается та и другая растрата
небесного гнева. Знать, так нам и надо.
При снеге, под блеск грозового разряда,
в «Оке», в заведение второго разряда,
гуляет электрик шестого разряда.
И нет меж событиями сими разлада.

Всем путникам плохо, и плохо рессорам.
А нам — хорошо перекинуться словом
в «Оке», где камин на стене нарисован,
в камин же — огонь возожженный врисован.

В огне дожигает последок зарплаты
Василий, шестого разряда электрик.
Сокроюсь, коллеги и лауреаты,
в содружество с ним, в просторечье элегий.

Подале от вас! Но становится гулок
субботы разгул. Поищу-ка спасенья.

Вот этот овраг назывался: Игумнов.
Руины над ним — это храм Воскресенья.

Где мальчик заснул знаменитый и бедный
нежнее, чем камни, и крепче, чем дети,
пошли мне, о Ты, на кресте убиенный,
надежду на близость Пасхальной недели.

В Алексин иль в Серпухов двинется если
какой-нибудь странник и после вернется,
к нам тайная весть донесется: Воскресе!
— Воистину! — скажем. Так всё обойдется.

Апрель 1983
Таруса

ДРУГ СТОЛБ

Георгию Владимову

В апреля неделю худую, вторую,
такою тоскою с Оки задувает.
Пойду-ка я через Пачёво в Тарусу.
Там нынче субботу народ затевает.

Вот столб, возглавляющий путь на Пачёво.
Балетным двуножеством упершийся в поле,
он стройно стоит, помышляя о чём-то,
что выше столбам уготованной роли.

Воспет не однажды избранник мой давний,
хождений моих соглядатай заядлый.
Моих со столбом мимолетных свиданий
довольно для денных и ночных занятий.

Все вёрсты мои сосчитал он и звёзды
вдоль этой дороги, то выюжной, то пыльной.
Друг столб, половина изъята из вёрстки
метелей моих при тебе и теплыней.

О том не кручинюсь. Я просто кручинюсь.
И коль не в Тарусу — куда себя дену?
Какой-то я новой тоске научилась
в худую вторую апреля неделю.

И что это — вёрстка? В печальной округе
нелепа обмолвка заумных угодий.
Друг столб, погляди, мои прочие други —
вон в той стороне, куда солнце уходит.

Последнего вскоре, при аэродроме,
в объятье на миг у судьбы уворую.
Все силы устали, все жилы продрогли.
Под клики субботы вступаю в Тарусу.

Всё это, что жадно вспомню я после,
заране известно столбу-конфиденту.
Сквозь слёзы смотрю на пачёвское поле,
на жизнь, что продлилась ещё на неделю.

Уж Сириус возголубел над долиной.
Друг столб о моём возвращенье печется.
Я, в радости тайной и неодолимой,
иду из Тарусы, миную Пачёво.

Апрель 1983

Таруса

* * *

Как много у маленькой музыки этой
завистников: все так и ждут, чтоб ушла.
Теснит ее сборища гомон несметный
и поедом ест приживалка нужда.

С ней в тяжбе о детях сокрытая мука —
виновной души неусыпная тень.
Ревнивая воля пугливого звука
дичится обобранных ею детей.

Звук хочет, чтоб вовсе был узок и скуден
сообщников круг: только стол и огонь
настольный. При нём и собака тоскует,
мешает, затылок суёт под ладонь.

Гнев маленькой музыки, загнанной в нети,
отлучки ее бытию не простит.
Опасен свободно гуляющий в небе
упущенный и неприкаянный стих.

Но где все обидчики музыки этой,
поправшей величье житейских музык?
Наивный соперник ее безответный,
укройся в укрытье, в изгои изыдь.

Для музыки этой возможных нашествий
возлюбленный путник пускается в путь.
Спровожен и малый ребенок, нашедший
цветок, на который не смею взглянуть.

О путнике милом заплакать попробуй,
попробуй цветка у себя не отнять —
изведашь маленькой музыки робкой
острастку, и некому будет пенять.

Чтоб музыке было являться удобней,
в чужом я себя заточила дому.
Я так одинока среди сирых угодий,
как будто не есмь, а мерещусь уму.

Черемухе быстротекущей внимая,
особенно знаю, как жизнь не прочна.
Но маленькой музыке этого мало:
всех прочь прогнала, а сама не пришла.

3 мая 1983

Таруса

СМЕРТЬ ФРАНЦУЗОВА

Вот было что со мной, что было не со мною:
черемуха всю ночь в горячке и бреду.
Сказала я стихам, что я от них сокрою
больной ее язык, пророчащий беду.

Красавице моей, терзаемой ознобом,
неможется давно, округа ей тесна.
Весь воздух небольшой удушливо настоян
на доводе, что жизнь — канун небытия.

Черемухи к утру стал разговор безумен.
Вдруг слышу: голоса судачат у окна.
— Эй,— говорю,— вы что? — Да вот, Французов умер.
Веселый вроде был, а не допил вина.

Французов был маляр. Но он, определенно,
воспроизвел в себе бравурные черты
заблудшего в снегах пришельца жантильома,
побывшего в плену калужской простоты.

Товарищей его дразнило, что Французов
плодовому вину предпочитал коньяк.
Остаток коньяка плеснув себе в рассудок,
послали за вином: поминки как-никак.

Никто не горевал. Лишь паршинская Маша
сказала мне потом: — Жалкую я о нём.
Всё Пасхи, бедный, ждал. Твердил, что участь наша
продлится в небесах,— и сжег себя вином.

Французов был всегда настроен супротивно.
Чужак и острослов, он вытеснен отсель.
Летит его душа вдоль слабого пунктира
поверх Калужских роц куда-нибудь в Марсель.

Увозят нищий гроб. Жена не захотела
приехать и простить покойнику грехи.
Черемуха моя еще не облетела.
Иду в ее овраг, не дописав стихи.

5—7 мая 1983

Таруса

ЦВЕТЕНИЙ ОЧЕРЕДНОСТЬ

Я помню, как с небес день тридцать первый марта,
весь розовый, сошёл. Но, чтобы не соврать,
добавлю: в нём была глубокая помарка —
то мраком исходил Ладыжинский овраг.

Вдруг синий-синий цвет, как если бы поэта
счастливые слова оврагу удались,
явился и сказал, что медуница эта
пришла в обгон не столь проворных медуниц.

Я долго на неё смотрела с обожаньем.
Кто милому цветку хвалы не воздавал
за то, что синий цвет им трижды обнажаем:
он совершенно синь, но он лилов и ал.

Что медунице люб соблазн зари ненастной
над Паршином, когда в нём завтра ждут дождя,
заметил и словарь, назвав ее «неясной»:
окрест, а не на нас глядит ее душа.

Конечно, прежде всех мать-мачеха явилась.
И вот уже прострел, забрав себе права
глагола своего, не промахнулся — вырос
для цели забытья, ведь это — сон-трава.

А далее пошло: пролесники, пролески,
и ветреницы хлад, и поцелуйный яд —
всех ветрениц земных за то, что так прелестны,
отравленные ей, уста благословят.

Так провожала я цветений очерёдность,
но знала: главный хмель покуда не почат.
Два года я ждала ладыжинских черемух.
Ужель опять вдохну их сумасходный чад?

На этот раз весна испытывать терпенья
не стала — все долги с разбегу раздала,
и раньше, чем всегда: тридцатого апреля—
черемуха по всей округе расцвела.

То с нею в дом бегу, то к ней бегу из дома —
и разум повреждён движеньем круговым.
Уже неделя ей. Но — дрёма, но — истома,
и я не объяснюсь с растеньем роковым.

Зачем мне так грустны черемухи наитья?
Дыхание ее под утро я приму
за вкрадчивый привет от важного события,
с чьим именем играть возбранено перу.

5—8 мая 1983

Таруса

СКОНЧАНИЕ ЧЕРЕМУХИ — 1

Тринадцатый с тобой я встретила восход.
В затылке тяжела твоих внушений залежь.
Но что тебе во мне, влиятельный цветок,
и не ошибся ль ты, что так меня терзаешь?

В твой задушевный яд — хлад зауми моей
влюбился и впился, и этому-то делу
покорно предаюсь подряд тринадцать дней
и мысль не укорю, что растеклась по дереву.

Пришелец дверь мою не смог бы отворить,
принявши надых твой за супротивный бицепс.
И незачем входить! Здесь — круча и обрыв.
Пришелец, отступись! Обрыв и сердце, сблизьтесь!

Черемуха, твою тринадцатую ночь
навряд ли я снесу. Мой ум тобою занят.
Былой приспешник мой, он мог бы мне помочь,
но весь ушел к тебе и грамоте не знает.

Чем прихожусь тебе, растение-нелюдим?
Округой округясь, мои простёрты руки.
Кто раболепным был урочищем твоим,
как я или овраг,— тот сведущ в этой муке.

Ты причиняешь боль, но не умеет боль
в овраге обитать, и вот она уходит.
Беспамятный объем, наполненный тобой,
я надобна тебе, как часть твоих угодий.

Благодарю тебя за странный мой удел —
быть контуром твоим, облекшим неизвестность,
подробность опустить, что — родом из людей,
и обитать в ночи, как местность и окрестность.

13—14 мая 1983

Таруса

* * *

Быть по сему: оставьте мне
закат вот этот за-калужский,
и этот лютик золотушный,
и этот город захолустный
пучины схлынувшей на дне.

Нам преподносит известняк,
придавший местности осанки,
стихии вмятные останки,
и как бы у ее изнанки
мы все нечаянно в гостях.

В блеск перламутровых корост
тысячелетия рядились,
и жабры жадные трудились,
и обитала нелюдность
вот здесь, где площадь и киоск.

Не потому ли на Оке
иные бытия расценки,
что все мы сведущи в рецепте:
как, коротая век в райцентре,
быть с вечностью накоротке.

Мы одиноки меж людьми.
Надменно наше захуданье.
Вы — в этом времени, мы — дале.
Мы утонули в мирозданье
давно, до Ноевой ладьи.

14 мая 1983

Таруса

СКОНЧАНИЕ ЧЕРЕМУХИ — 2

Еще и обещанья не давала,
что расцветет, была дотла черна,
еще стояла у ее оврага
разлившейся Оки величина.

А я уже о будущем скучала
как о былом и говорила так:
на этот раз черемухи скончанья
я не снесу, ладыжинский овраг.

Я не снесу, я боле не умею
сносить разлуку и глядеть вослед,
ссылая в бесконечную аллею
всего, что есть, любимый силуэт.

Она пришла — и сразу затворилось
объятье обоюдной западни.
Перемешалась выдохом взаимность,
их общий чад перенасытил дни.

Пятнадцать дней черемухову игу.
Мешает лбу расширенный зрачок.
И, если вдруг из комнаты я выйду,
потупится, кто этот взор прочтет.

Дремотою круженья и качанья
не усыпить докучливой строки:
я не снесу черемухи скончанья —
и довода: тогда свое стерпи.

Я и терплю. Черемухи настоем
питаем пульс отверстого виска.
Она — мой бред. Но мы друг друга стоим:
и я — бредовый вымысел цветка.

Само решит творительное зелье,
какую волю навязать уму.
Но если он — безвольное изделие
насильных чар,— так больно почему?

Я не снесу черемухи скончанья,—
еще твержу, но и его снесла.
Сколь многих я пережила случайно.
Нет, знаю я: так говорить нельзя.

16—17 мая 1983

Таруса

* * *

Андрею Битову

Отселева за тридевять земель
кто окольцует вольное скитанье
ночного сна? Наш деревенский хмель
всегда грустит о море-окияне.

Немудрено. Не так уж мы бедны:
когда весны события утрясутся,
вокруг Тарусы явственно видны
отметины Нептунова трезубца.

Наш опыт старше младости земной.
Из чуд морских содеяны каменья.
Глаз голубой над кружкой пивной
из дальних бездн глядит высокомерно.

Вселенная — не где-нибудь, вся — тут.
Что достается прочим зреньям, если
ночь напролёт Юпитер и Сатурн
пекутся о занесшемся уезде.

Что им до нас? Они пришли не к нам.
Им недосуг разглядывать подробность.
Они всесущий видят океан
и волн всепоглощающих огромность.

Несметные проносятся валы.
Плавник одолевает время оно,
и голову подьёмлет из воды
всё то, что вскоре станет земноводно.

Лишь рассветет — приокской простоте
тритон заблудший попадетсЯ в сети.
След раковины в гробовой плите
уводит мысль куда-то дальше смерти.

Хоть здесь растет — нездешнею тоской
клонима многознающая ива.
Но этих мест владычицы морской
на этот раз не назову я имя.

18—19 мая 1983

Таруса

29-й ДЕНЬ ФЕВРАЛЯ

Тот лишний день, который нам даётся,
как полагают люди, не к добру,—
но люди спят,— еще до дня, до солнца,
к добру иль нет, я этот день — беру.

Не сообщает сведений надземность,
но день — уж дан, и шесть часов ему.
Расклада високосного чрезмерность
я за продление бытия приму.

Иду в тайник и средоточье мрака,
где в крайний час, когда рассвет незрим,
я дале всех от завтрашнего марта
и от всего, что следует за ним.

Я мешкаю в ладыжинском овраге
и в домысле: расход моих чернил,
к нему пристрастных, не строку бумаге,
а вклад в рельеф округе причинил.

К метафорам усмешлив мой избранник.
Играть со мною недосуг ему.
Округлый склон оврагом — рвано ранен.
Он придан месту, словно мысль уму.

Замечу: не из-за моих писаний
он знаменит. Всеопытный народ
насквозь торил путь простодушный самый
отсель в Ладыгу и наоборот.

Сердешный мой, неуголимый гений!
В своей тоске, но по твоим следам,
влекусь тропею вековых хождений,
и нет другой, чтоб разминуться нам.

От вас, овраг осиливших с котомкой,
услышала, при быстрой влаге глаз:
— Мы все читали твой стишок.— Который? —
— Да твой стишок, там про овраг, про нас.

Чем и горжусь. Но не в самом овраге.
Паденья миг меня доставит вниз.
Эй, эй! Помене гордости и влаги.
Посуше будь, всё то, что меж ресниц.

Люблю оврага образ и устройство.
Сорвемся с кручи, вольная строка!
Внизу — помедлим. Восходить — не просто.
Подумаем на темном дне стиха.

Нам повезло, что не был лоб расшиблен
о дерево. Он пригодится нам.
Зрачок — приметлив, хладен, не расширен.
Вверху — светает. Точка — тоже там.

Я шла в овраг. Давно ли это было?
До этих слов, до солнца и до дня.
Я выбираюсь. На краю обрыва
готовый день стоит и ждёт меня.

Успею ль до полуночного часа
узнать: чем заплачу календарю
за лишний день? за непомерность счастья?
Я всё это беру? иль отдаю?

29 февраля — 4 марта 1984
Таруса

* * *

Дорога на Паршино, дале — к Тарусе,
но я возвращаюсь вспять ветра и звёзд.
Движеньё мое прижилось в этом русле
Длиною — туда и обратно — в шесть вёрст.

Шесть множим на столько, что ровно несметность
получим. И этот туманный итог
вернём очертаньям, составившим местность
в канун ее паводков и поволок.

Мой ход непрерывен, я — словно течение,
чей долг — подневольно влачиться вперед.
Небес близлежащих ночное значенье
мою протяженность питает и пьет.

Я — свойство дороги, черта и подробность.
Зачем сочинитель ее жития
всё гонит и гонит мой робкий прообраз
в сюжет, что прочней и пространней, чем я?

Близ Паршина и поворота к Тарусе
откуда мне знать, сколько минуло лет?
Текущее вверх, в изначальное устье,
всё странствие длится, а странника — нет.

4—5 марта 1984

Таруса

ШУМ ТИШИНЫ

Преодолима с Паршином разлука
мечтой ума и соучастьем ног.
Для ловли необщительного звука
искомого — я там держу силок.

Мне следовало в комнате остаться—
и в ней есть для добычи западня.
Но рознь была занятием пространства,
и мысль об этом увлекла меня.

Я шла туда, где разворот простора
наивелик. И вот он был каков:
замкнув меня, как сжатие острога,
сцепились интересы сквозняков.

Заокский воин поднял меч весенний.
Ответный норд призвал на помощь ост.
Вдобавок задувало из вселенной.
(Ужасней прочих этот ветер звёзд.)

Не пропадать же в схватке исполинов!
Я — из людей, и отпустите прочь.
Но мелкий сброд незримых, неповинных
в делах ее — не занимает ночь.

С избытком мне хватало недознания.
Я просто шла, чтобы услышать звук,
я не бросалась в прорубь мироздания,
да зданье ли — весь этот бред вокруг?

Ни шевельнуться, ни дохнуть — нет мочи.
Кто рядом был? Чьи мне слова слышны?
— Шум тишины — вот содержанье ночи...
Шум тишины... — и вновь: шум тишины...

И только-то? За этим ли трофеем
я шла в разлад и разнбой весны,
в разъятый ад, проведенный Орфеем?
Как нежно он сказал: шум тишины...

Шум тишины стоял в открытом поле.
На воздух — воздух шел, и тьма на тьму.
Четыре сильных кругосветных воли
делили ночь по праву своему.

Я в дом вернулась. Ахнули соседи:
— Где были вы? Что там, где были вы?
— Шум тишины главенствует на свете.
Близ Паршина была. Там спать легли.

Бессмыслица, нескладица, мне — долго
любить тебя. Но веки тяжелы.
Шум тишины... сон подступает... только
шум тишины... шум только тишины...

6—7 марта 1984
Таруса

* * *

Люблю ночные промедленья
за озорство и благодать:
совсем не знать стихотворенья,
какое утром буду знать.

Где сиром обитают строки,
которым завтра улыбнусь,
когда на паршинской дороге
себе прочту их наизусть?

Лишь рассветет — опять забрезжу
в пустых полях зимы-весны.
К тому, как я бубню и брежу,
привыкли дважды три версты.

Внутри, на полпути мотива,
я встречу, как заведено,
мой столб, воспетый столь ретиво,
что и ему, и мне смешно.

В Пачёво ль милое задвинусь
иль столб миную напрямик,
мне сладостно ловить взаимность
всего, что вижу в этот миг.

Коль похвалю себя — дорога
довольна тоже, ей видней,
в чём смысл, еще до слов, до срока:
ведь всё это на ней, о ней.

Коль вдруг запинкою терзаюсь,
ее подарок мне готов:
всё сбудется! Незримый заяц
всё ж есть в конце своих следов.

Дорога пролегла в природе
мудрей, чем проложили вы:
всё то, при чьем была восходе,
заходит вдоль ее канвы.

Небес запретною загадкой
сопровожаем этот путь.
И Сириус быстрозакатный
не может никуда свернуть.

Я в ней — строка, она — страница.
И мой, и надо мною ход —
всё это к Паршину стремится,
потом за Паршино зайдет.

И даже если оплошаю,
она простит, в ней гнева нет.
В ночи хожу и вопрошаю,
а утром приношу ответ.

Рассудит алое-иссиня,
зачем я озидала тьму:
то ль плохо небо я спросила,
то ль мне ответ не по уму.

Быть может, выпадет мне милость:
равнины прояснится вид
и всё, чему в ночи молилась,
усталый лоб благословит.

В ночь на 8 марта 1984
Таруса

ПОСВЯЩЕНИЕ

Всё этот голос, этот голос странный.
Сама не знаю: праведен ли трюк —
так управлять трудолюбивой раной
(она не любит втайне этот труд),
и видеть бледность девочки румяной,
и брать из рук цветы и трепет рук,
и разбирать их в старомодной ванной, —
на этот раз ты сетовал, мой друг,
что, завладев всей данной нам водою,
плыла сирень купальщицей младою.
Взойти на сцену — выйти из тетради.
Но я сирень без памяти люблю,
тем более — в Санкт-белонощном граде
и Невского проспекта на углу
с той улицей, чье утаю название:
в которой я гостинице жила —
зачем вам знать? Я говорю не с вами,
а с тем, кого я на углу ждала.

Ждать на углу? Возможно ли? О, доле
ждала бы я, но он приходит в срок —
иначе б линий, важных для ладони,
истерся смысл и срок давно истёк.

Не любит он туманных посвящений,
и я уступку сделаю молве,
чтоб следопыту не ходить с ищейкой
вдоль этих строк, что приведут к Неве.

Речь — о любви. Какое же герою
мне имя дать? Вот наименьший риск:
чем нарекать, я попросту не скрою
(не от него ж скрывать), что он — Борис.

О, поводырь моей повадки робкой!
Как больно, что раздвоены мосты.
В ночи — пусть самой белой и короткой —
вот я, и вот Нева, а где же ты?

Глаз, захворав, дичится и боится
заплакать. Мост — раз-ъ-единён. Прощай.
На острове Васильевском больница
сто лет стоит. Ее сосед — причал.

Скажу заранее: в байковом наряде
я приживусь к больничному двору
и никуда не выйду из тетради,
которую тебе, мой друг, дарю.

Взойти на сцену? Что это за вздор?
В окно смотрю я на больничный двор.

*Май — июль 1984
Ленинград*

* * *

Олегу Грушникову

Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях.
Тот пробел, где была, всё собой обволок.
Этот бледный, как обморок, выдумка-город —
не изденье Петрово, а бредни болот.

Да и есть ли он впрямь? Иль для тайного дела
ускользнул из гранитной своей чешуи?
Это — бегство души из обузного тела
вдоль воздетых мостов, вдоль колонн тишины.

Если нет его рядом — мне ведомо, где он.
Он тайком на свидание с теми спешит,
чьим дыханием весь его воздух содеян,
чей удел многоскорбен, а гений смешлив.

Он без них — убиенного рыцаря латы.
Просто благовоспитан, не то бы давно
бросил оземь всё то, что поднимают атланты,
и зарю заодно, чтобы стало темно.

Так и сделал бы, если б надежды и вести
не имел, что, когда разбредётся наш сброд,
все они соберутся в условленном месте.
Город знает про сговор и тоже придет.

Он всегда только их оставался владеньем,
к нам был каменно замкнут иль вовсе не знал.
Раболепно музейные туфли наденем,
но учтивый хозяин нас в гости не звал.

Ну, а те, кто званы и желанны, лишь ныне
отзовутся. Отверстая арка их ждет.
Вот уж в сборе они, и в тревоге: меж ними
нет кого-то. Он позже придет, но придет.

Если ж нет — это белые ночи всего лишь,
штучки близкого севера, блажь выпускниц.
Ты, чьей крестною мукою славен Воронеж,
где ни спишь — из отлучки своей отпросись.

Как он юн! И вернули ему телефоны
обою, признанья и дружбы свои.
Столь беспечному — свидеться будет легко ли
с той, посмевшей проведать его хрустали?

Что проведать? Предчувствие медлит с ответом.
Пусть стоят на мосту бесконечного дня,
где не вовсе потупилась пред человеком,
хоть четырежды сломлена воля коня.

Все сошлись. Совпадение счастливое длится:
каждый молод, наряжен, любим, знаменит.
Но зачем так печальны их чудные лица?
Миновало давно то, что им предстоит.

Всяк из них бесподобен. Но кто так подробно
черной оспой извел в наших скудных чертах
робкий знак подражания, попытку подобья,
чтоб остаток лица было страшно читать?

Всё же стоит вчитаться в безбуквие книги.
Ее тайнопись кто-то не дочиста стёр.
И дрожат над умом обездоленным нимбы,
и не вырван из глаз человеческий взор.

Это — те, чтобы нас упасти от безумья,
не обмолвились словом, не подняли глаз.
Одинокие их силуэты связуя,
то ли страсть, то ли мысль, то ли чайка неслась.

Вот один, вот другой размыкается скрежет.
Им пора уходить. Мы останемся здесь.
Кто так смел, что мосты эти надвое режет —
для удобства судов, для разрыва сердец?

Этот город, к высокой допущенный встрече,
не сумел ее снести и помешан вполне,
словно тот, чьи больные и дерзкие речи
снизошел покарать властелин на коне.

Что же городу делать? Очнулся — и строен,
сострадания просит, а делает вид,
что спокоен и лишь восхищенья достоин.
Но с такою осанкою — он устоит.

Чужестранец, ревнитель пера и блокнота,
записал о дворце, что прекрасен дворец.
Утаим от него, что заботливый кто-то
драгоценность унёс и оставил ларец.

Жизнь — живей и понятней, чем вечная слава.
Огибая величье, туда побреду,
где в пруду, на окраине Летнего сада,
рыба важно живет у детей на виду.

Милый город, какая огромная рыба!
Подплыла и глядит, а зеваки ушли.
Не грусти! Не отсутствует то, что незримо.
Ты и есть достоверность бессмертья души.

Но как странно взглянул на меня незнакомец!
Несомненно: он видел, что было в ночи,
наглядеться не мог, ненаглядность запомнил —
и усвоил... Но город мне шепчет: молчи!

Май — июнь 1984
Ленинград

* * *

Борису Мессереру

Когда жалела я Бориса,
а он меня в больницу вёз,
стихотворение «Больница»
в глазах стояло вместо слёз.

И думалось: уж коль поэта
мы сами отпустили в смерть
и как-то вытерпели это, —
всё остальное можно снести.

И от минуты многотрудной
как бы рассудок ни устал, —
ему одной достанет чудной
строки про перстень и футляр.

Так ею любовалась память,
как будто это мой алмаз,
готовый в черный бархат прянуть,
с меня востребуют сейчас.

Не тут-то было! Лишь от улиц
меня отъединил забор,
жизнь удивленная очнулась,
воззрилась на больничный двор.

Двор ей понравился. Не меньше
ей нравились кровать и суп,
столь вкусный, и больных насмешки
над тем, как бледен он и скуп.

Опробовав свою сохранность,
жизнь стала складывать слова
о том, что во дворе — о радость! —
два возлежат чутунных льва.

Львы одичавшие — привыкли,
что кто-то к ним щекою льнёт.
Податливые их заливки
клялись в ответном чувстве львов.

За все черты чуть-чуть иные,
чем принято, за не вполне
разумный вид — врачи, больные —
все были ласковы ко мне.

Профессор, коей все боялись,
войдет со свитой, скажет: «Ну-с,
как ваши львы?» — и все смеялись,
что я боюсь и не смеюсь.

Все люди мне казались правы,
я вникла в судьбы, в имена,
и стук ужасной их забавы
в саду — не раздражал меня.

Я видела упадок плоти
и грубо поврежденный дух,
но помышляла о субботе,
когда родные к ним придут.

Пакеты с вредоносно-сильной
едой, объятья на скамье —
весь этот праздник некрасивый
был близок и понятен мне.

Как будто ничего вселенной
не обещала, не должна —
в алмазик бытия бесценный
вцепилась жадная душа.

Всё ярче над небесным краем
двух зорь единый пламень рос.
— Неужто всё еще играет
со львами? — слышался вопрос.

Как напоследок жизнь играла,
смотрел суровый окуляр.
Но это не опровергало
строки про перстень и футляр.

*Июнь 1984
Ленинград*

* * *

Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла.
Я дверью ошиблась. Я шла не сюда, не за этим.
Хоть эта ошибка была велика и важна,
никчемности лишней за дверью никто не заметил.

Для бездны не внове, что вхожи в нее пустяки:
без них был бы мелок её умозрительный омут.
Но бездн охранитель мне вход возбраняет в стихи:
снедают меня и никак написать не могут.

Но смилуйся! Знаю: там воля свершалась Твоя.
А я заблудилась в сплошной белизне коридора.
Тому человеку послала я пульс бытия,
отвергнутый им как помеха докучного вздора.

Он словно очнулся от жизни, случившейся с ним
для скромных невзгод, для страданий привычно-родимых.
Ему в этот миг был объявлен пронзительный смысл
недавних бессмыслиц — о, сколь драгоценных, сколь дивных!

Зеницу предсмертья спасали и длили врачи,
наильную жизнь в безучастное тело вонзая.
В обмен на сознание — знание вступало в зрачки.
Я видела знание, его содержания не зная.

Какая-то дача, дремотный гамак и трава,
и голос влюбленный: «Сыночек, вот это — ромашка»,
и далее — свет. Но мутилась моя голова
от вида цветка и от мощи его аромата.

Чужое мгновение себе я взяла и снесла.
Кто жив — тот неопытен. Тёмен мой взор виноватый.
Увидевший то, что до времени видеть нельзя,
страшись и молчи, о, хотя бы молчи, соглядатай.

Июнь 1984

Ленинград

* * *

Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть.
Это только снаружи больница скушна, непреклонна.
А внутри — очень много событий, занятий и чувств.
И больные гуляют, держась за перила балкона.

Одиночество боли и общее шарканье ног
вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту.
Лишь покойник внизу оставался совсем одинок:
санитар побежал за напарником, бросив каталку.

Столь один — он, пожалуй, еще никогда не бывал.
Сочиняй, починай — все сбиваемся в робкую стаю.
Даже холодный подвал, где он в этой ночи ночевал,
кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.

Но зато, может быть, никогда он так не был любим.
Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже.
Соучастье любви на мгновенье сгустилось над ним.
Это ластились к тайне живых боязливые души.

Все свидетели скрытным себя осенили крестом.
За оградой — не знаю, а здесь нездоровый упадок
атеизма замечен. Всем хочется над потолком
вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.

Две не равных вершины вздымали покров простыни.
Вдосталь, мил-человек, ты, небось походил по Расее.
Натрудила она две воздетые к небу ступни.
Что же делать, прощай. Не твое это, брат, воскресенье.

Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь вела:
«Дево, радуйся!» Я — не умею припомнить акафист.
Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.
Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест.

Июнь 1984

Ленинград

НОЧЬ НА 6 ИЮНЯ

Перечит дрёме въедливая дрель:
то ль блещет шпиль, то ль бредит голос птицы.
Ах, это ты, всеночный белый день,
оспоривший снотворный шприц больницы.

Простёртая для здоровой простоты
пологость, упокоенная на ночь,
разорвана, как невские мосты,—
как я люблю их с фонарями навзничь.

Меж вздыбленных разъятых половин
сознания — что уплывет в далёкость?
Какой смотритель утром повелит
с виском сложить висок и с локтем локоть?

Вдруг позабудут заново свести
в простую схему рознь примет никчемных,
что под щекой и локоном сестры
уснувшей — знает назубок учебник?

Раздвоен мозг: бывлой и новый свет,
совпав, его расторгли полушарья.
Чтоб возлежать, у лежебоки нет
ни знания, как спать, ни прилежанья.

И вдруг смеюсь: как повод прост, как мал —
не спать, пенять струне неумолимой:
зачем поёт! А это пел комар
иль незнакомец в маске комариной.

Я вспомню, вспомню... вот сейчас, сейчас...
Как это было? Судно вдаль ведомо
попутным ветром... в точку уменьшась,
забившись в щель, достичь родного дома...
Несчастливая! Каких лекарств, мещанств
наелась я, чтоб не узнать Гвидона?

Мой князь, то белена и курослеп,
подслеповатость и безумье бденья.
Пожалуй в рознь соседних королевств!
Там — общий пир, там чей-то день рожденья.

Скажи, что конь что тот, кто на коне?
На месте ли, пока держу их в книге?
Я сплю. Но гений розы на окне
грустит о том, чей день рожденья ныне.

У всех — июнь. У розы — май и жар.
И посылает мстительность метафор
в окно мое неуголимость жал:
пусть вволю пьют из кровеносных амфор.

*Июнь 1984
Ленинград*

* * *

Какому ни предамся краю
для ловли дум, для траты дней, —
всегда в одну игру играю,
и много мне веселья в ней.

Я знаю: скрыта шаловливость
в природе и в уме вещей.
Лишь недогадливый ленивец
не зван соотноситься с ней.

Люблю я всякого предмета
притворно-благонравный вид.
Как он ведёт себя примерно,
как упоительно хитрит!

Так быстрый взор смолянки нежной
из-под опущенных ресниц
сверкнет — и старец многогрешный
грудь в орденах перекрестит.

Как всё ребячливо на свете!
Все вещества и существа,
как в угол вдвинутые дети,
понуро жаждут озорства.

Заметят, что на них воззрилась
любовь — восторгов и щедрот
не счесть! И бытия взаимность —
сродни щенку иль сам щенок.

Совсем я сбилась с панталыку!
Рука моя иль чья-нибудь
пускай потреплет по затылку
меня, чтоб мысль ему вернуть.

Не образумив мой загрибок,
Вид из окна — вошел в окно,
и тварей утвари игривой
его вторжение развлекло.

Того оспорю неужели,
чье имя губы утаят?
От мысли станет стих тяжеле,
пусть остается глуповат.

Пусть будет вовсе глуп и волен.
Ко мне утратив интерес,
рассудок белой ночью болен.
Что делать? Обойдёмся без.

Начнем: мне том в больницу прислан.
Поскольку принято капризам
возлегших на ее кровать
подобострастно потакать,
по усмотренью доброты
ему сопутствуют цветы.

Один в палате обыватель:
сам сочинит и сам прочтет.
От сочинителя читатель
спешит узнать: разгадка в чём?

Скажу ему, во что играю.
Я том заветный открываю,
смеюсь и подношу цветок
стихотворению «Цветок».

О сколько раз всё это было:
и там, где в милый мне овраг
я за черемухой ходила
или ходила просто так,

и в робкой роще подмосковной,
и на холмах вблизи Оки—
насильный, мною не искомый,
накрапывал пунктир строки.

То мой, то данный мне читальней,
то снятый с полки у друзей,
брала я том для страсти тайной,
для прочной прихоти моей.

Подснежники и медуницы
и всё, что им вослед растет,
привыкли соединять страницы
с произрастаньем милых строк.

В материальности материй
не сведущий — один цветок
мертворожденность иммортелей
непринужденно превозмог.

Мы знаем, что в лесу иль в поле,
когда — не знаем, он возрос.
Но сколько выросших в неволе
ему я посвятила роз.

Я разоряла их багрянность,
жалеючи, рукой своей.
Когда мороз — какая радость
сказать: «Возьми её скорей».

Так в этом мире беззащитном,
на трагедийных берегах,
моим обмолвкам и ошибкам
я предаюсь с цветком в руках.

И рада я, что в стольких книгах
останутся мои цветы,

что я повинна только в играх,
что не черны мои черты,

что розу не отдавший вазе,
еще не сущий аноним
продлит неуголимость связи
того цветка с цветком иным.

За это — столько упоений,
и две зари в одном окне,
и весел Тот, чей бодрый гений
всегда был милостив ко мне.

*Июнь 1984
Ленинград*

* * *

Александру Блоку

Бессмертьем душу обольщая,
всё остальное отстранив,
какая белая, большая
в окне больничном ночь стоит.

Все в сборе: муть окраин, гавань,
вздохнувшая морская близь,
и грезит о герое главном
собрание действующих лиц.

Поймем ли то, что разыграют,
покуда будет ночь свежень?
Из умолчаний и загадок
составлен роковой сюжет.

Тревожить имени не стану,
чей первый и последний слог
непроницаемую тайну
безукоризненно облёк.

Всё сказано — и всё сокрыто.
Совсем прозрачно — и темно.
Чем больше имя знаменито,
тем неразгаданней оно.

А это, от чьего наитья
туманно в сердце молодом, —
тайник, запретный для открытия,
замкнувший створки медальон.

Когда смотрел в окно вагона
на вспышки засух торфяных,
он знал, как грозно и огромно
предвестье бед, и жаждал их.

Зачем? Непостижимость таинств,
которые он взял с собой,
пусть называет чужестранец
Россией, фатумом, судьбой.

Что видел он за мглой, за гарью?
Каким был светом упоён?
Быть может, бытия за гранью
мы в этом что-нибудь поймем.

Всё прозорливее, чем гений.
Не сведущ в здравомыслие зла,
провидит он лишь высь трагедий.
Мы видим, как их суть низка.

Чего он ожидал от века,
где всё — надрыв и всё — навзрыд?
Не снесший пошлости ответа,
так бледен, что уже незрим.

Искавший мук, одну лишь муку:
не петь — поющий не учел.
Вослед замученному звуку
он целомудренно ушел.

Приняв брезгливые проклятья
былых сподвижников своих,
пал кротко в лютые объятия,
своих убийц благословив.

Поступок этой тихой смерти
так совершенен и глубок.
Всё приживается на свете,
и лишь поэт уходит в срок.

Одно такое у природы
лицо. И остается нам
смотреть, как белой ночи розы
всё падают к его ногам.

Июнь 1984

Ленинград

СТЕНА

Юрию Ковалю

Вид из окна: кирпичная стена.
Строки или палаты посетитель
стены моей пугается сперва.
— Стена и взор, проснитесь и сойдитесь! —
я говорю, хоть мало я спала,
под утро неусыпностью пресытяться.

Двух разных зорь неутолима страсть,
и ночь ее обходит стороною.
Пусть вам смешно, но такова же связь
меж мною и кирпичною стеною.
Больничною диковинкою став,
я не остерегаюсь быть смешною.

Стена моя, всё трудишься, корпишь
для цели хоть полезной, но не новой.
Скажи, какою ныне окропишь
мою бумагу мыслью пустяковой?
Как я люблю твой молодой кирпич
за тайный смысл его средневековый.

Стене присущ былых времен акцент.
Пред-родствен ей высокородный замок.
Вот я сижу: вельможа и аскет,
стены моей заносчивый хозяин.
Хочу об этом поболтать — но с кем?
Входил доцент, но он суров и занят.

Еще и тем любезна мне стена,
что четко окорачивает зренье.
Иначе мысль пространна, не стройна,
как пуха тополиного паренье.
А так — в ее вперяюсь письма
и списываю с них стихотворенье.

Но если встать с кровати, сесть левой,
сидеть всю ночь и усидеть подоле,
я вижу, как усердые тополя
мне шлет моих же помыслов подобье,
и слышу близкий голос кораблей,
проведавший больничное подворье.

Стена — ревнива: ни щедрот, ни льгот.
Мгновенье — и ощерятся бойницы.
Она мне не показывает львов,
сто лет лежащих около больницы.
Чтоб мне не видеть их курчавых лбов,
встает меж нами с выраженьем львицы.

Тут наш разлад. Я этих львов люблю.
Всех, кто не лев, пускай берут завидки.
Иду ко львам, верней — ко льву и льву,
и глажу их чутунные загривки.
Потом стене подобострастно лгу,
что к ним ходила только из-за рифмы.

В том главное значение стены,
что скрыт за нею город сумасходный.
Он близко — только руку протяни.
Но есть препона совладать с охотой
иметь. Не возымей, а сотвори
всё надобное, властелин свободный.

Всё то, что взять могу и не беру:
дворцы разъединивший мост Дворцовый
(и Меншиков опять не ко двору),
и Летний сад, и, с нежностью особой,
всех львов моих,— я отдаю Петру.
Пусть наведет порядок образцовый.

Потусторонний (не совсем иной —
застенный) мир меня ввергает в ужас.
Сегодня я прощаюсь со стеной,
перехожу из вымысла в насущность.
Стена твердит, что это бред ночной,—
не ей бы говорить, не мне бы слушать.

Здесь измышленья, книги и цветы
со мной следили дня и ночи смену
(с трудом — за неименьем темноты).
Стена, прощай. Поднять глаза не смею.
Преемник мой, как равнодушно ты,
как слепо будешь видеть эту стену.

*Июнь 1984
Ленинград*

* * *

Чудовищный и призрачный курорт —
улада для заезжих чужестранцев.
Их привечает пристальный урод
(знать, больше нет благообразных старцев)
и так порочен этот вождь ворот,
что страшно за рассеянных скитальцев.
Простят ли мне Кирилл и Ферапонт,
что числилась я в списке постояльцев?

Я — не виновна. Произволен блат:
стихолобивы дивы «Интуриста».
Одни лишь финны, гости финских блат,
не ощущают никакого риска,
когда красotka поднимает взгляд,
в котором хлад стоит и ад творится.
Но я не вхожа в этот хладный ад:
всегда моя потуплена зеница.

Вид из окна: сосна и «мерседес».
Пир под сосной мои пресытил уши.
Официант, рожденный для злодейств,
погрязнуть должен в мелочи и в чуши.
Отечество, ты приютилось здесь
подобострастно и как будто вчуже.
Но разнобой моих ночных сердец
всегда тебя подозревает в чуде.

Ни разу я не выходила прочь
из комнаты. И предается думе

прислуга (вся в накрапе зримых порч):
от бедности моей или от дури?
Пейзаж усилен тем, что вдвинут «порш»
в невидимые мне залив и дюны.
И, кроме мысли, никаких нет почт,
чтоб грусть моя достигла тети Дюни.

Чтоб городок Кириллов позабыть,
отправлюсь-ка проведать жизнь иную.
Дежурной взгляд не зряч, но остро-быстр.
О, я в снэк-бар всего лишь, не в пивную.

Ликуют финны. Рада я за них.
Как славно пьют, как весело одеты.
Пускай себе! Ведь это — их залив.
А я — подкидыш, сдуру взятый в дети.

С улыбкой благодетели следят:
смотри, коль слово лишнее проронишь.
Но не сидеть же при гостях в слезах?
Так осмелел, что пьёт коньяк приёмыш.

Финн спросил: «Where are you from, madam?»
Приятно поболтать с негоциантом.
— Оттуда я, где чёрт нас догадал
произрасти с умом, да и с талантом.
Он поражен: — С талантом и умом?
И этих свойств моя не ценит фирма?
Не перейти ль мне в их торговый дом?
— Спасибо, нет, — благодарю я финна.

Мне повезло: никто не внял словам
того, чья слава множится и крепнет:
ни финн, ни бармен — гордый внук славян,
ну, а тунгусов не пускают в кемпинг.

Спасибо, нет, мне хорошо лишь здесь,
где зарасту бессмертной лебедою.
Кириллов же и ближний Белозерск
сокроются под вечною водою.

Что же, тете Дюне — девяностый год, —
финн речь заводит об архитектуре, —
а правнуков ее большой народ
мечтает лишь о финском гарнитуре.

Тут я смеюсь. Мой собеседник рад.
Он говорит, что поставляет мебель
в столь знаменитый близлежащий град,
где прежде он за недосугом не был.

Когда б не он — кто бы наладил связь
бессвязных дум? Уж если жить в мотеле
причудливом — то лучше жить смеясь,
не то рехнуться можно в самом деле.

В снэк-баре — смех, толкучка, красота,
и я любуюсь финкой молодой:
уж так свежа (хоть несколько толста).
Я выхожу, иду к чужому дому,
и молвят Ферапонтовы уста
над бывшей и грядущею юдолью:
«Земля была безвидна и пуста,
и Божий Дух носился над водою».

Июнь — июль 1984

Мотель-кемпинг «Ольгино»

* * *

Такая пала на душу метель:
ослепли в ней и заплутали кони.
Я в элегантный въехала мотель,
где и сижу в шезлонге на балконе.

Вот так-то, брат ладыжинский овраг.
Я знаю силу твоего week-end'a,
но здесь такой у барменов аврал,—
прости, что говорю интеллигентно.

Въезжает в зрение новый лимузин.
Всяк флаг охоч до нашего простора.
Отечество юлит и лебезит:
Алёшки — ладно, но и Льва Толстого.

О бедное отечество, прости!
Не всё ж гордиться и грозить чумою.
Ты приворотным зельем обольсти
гостей желанных — пусть потряхнут мошною.

С чего я начала? Шезлонг? Лонгшез?
Как ни скажи — а все сидеть тоскливо.
Но сколько финнов! Уж не все ли здесь,
где нет иль мало Финского залива?

Не то, что он отсутствует совсем,
но обитает за глухой оградой.
Мне нравится таинственный сосед,
невидимый, но свежий и отрадный.

Его привет щекою и плечом
приму — и вновь затворничаем оба.
Но — Финский он. Я — вовсе ни при чём,
хоть почитатель финского народа.

Не мне судить: повсюду и всегда
иль только здесь, где кемпинг и суббота,
присуща людям яркая черта
той красоты, когда душа свободна.

Да и не так уж скрытен их язык.
Коль придан Вакху некий бог обратный,
они весь день кричат ему: «Изыдь!» —
не размыкая рюмок и объятий.

Но и моя вдруг засверкала жизнь.
Содержат трёх медведиц при мотеле.
Невольно стала с ними я дружить,
на что туристы с радостью глядели.

Поэт. Медведь. Все-детское «Ура!».
Мы шествуем с медведицей моею.
Не обессудь, великая страна,
тебя я прославляю, как умею.

Какой успех! Какая благодать!
Аттракционом и смешным, и редким
могли бы мы валюту добывать
столь нужную — да возбранил директор.

Что делать дале? Я живу легко.
Событий — нет. Занятия — невинны.
Но в баре, глянув на мое лицо,
вдруг на мгновение умолкают финны.

Июнь — июль 1984

Мотель-кемпинг «Ольгино»

* * *

Взамен элегий — шуточки, сарказмы.
Слог не по мне, и всё здесь не по мне.
Душа и местность не живут в согласье.
Что делаю я в этой стороне?

Как что? Очнись! Ты родом не из финнов,
не из дельфинов. О язык-болтун!
Зачем дельфинов помянул безвинных,
в чей ум при мне вникал глупец Батум?

Прости, прости, упасший Ариона,
да и меня — летящую во сне
во мгле Красногвардейского района
в первопрестольном городе Москве.

Вот, объясняю, родом я откуда.
Но сброд мотеля смотрит на меня
так, словно упомянутое чудо —
и впрямь моя недалняя родня.

Немудрено: туристы да прислуга,
и развлечения их невелики.
А тут — волною о скалу плеснуло:
в диковинку на суше плавники.

Запретный блеск чужого ширпотреба
приелся пресным лицам россиян.
— Забудь всё это! — кроткого привета
раздался всплеск, и образ просиял.

Отбор довел до совершенства лица:
лишь рознь пороков оживляет их.
— Забудь! Оставь! — упрашивал и длился
печальный звук, но изнемог и стих.

Я шла на зов — бар по пути проведая.
Вдруг как-то мой возвысился удел.
Зрачком Петра я глянула на шведов.
За стойкой плут — и тот похолодел.

Он — сложно-скрытен, в меру раболепен,
причастен тайне, неизвестной нам.
— Оставь! Иди! — опять забрезжил лепет. —
Иду. Но как прозрачно-скупен хам.

Как беззащитно уязвлен обидой.
— Иди! — неслось. — Скорей иди сюда!
Вот этих, с тем, что в них, автомобилей
напрасно жаждать — лютая судьба.

Мне белоснежных шведов стало жалко:
смущен, повержен, ранен в ногу Карл.
Вдруг — тишина. Но я уже бежала:
оклихни вновь, коль прежде окликал!

Вчера писала я, что на запоре
к заливу дверь. Слух этот справедлив,
но лишь отчасти: есть дыра в заборе.
— Не стой как пень, — мне указал залив.

Я засмеялась: к своему имению
финн не пролез. А я прошла. Вдали,
за длительной серебряною мелью,
стояло небо, плыли корабли.

Я шла водой и слышала взаимность
воды, судьбы, туманных берегов.
И как Петрова вспыхивая милость,
явился и сокрылся Петергоф.

С тех пор меня не видывала суша.
Воспетый плут вернуться завлекал.
В мотеле всем народам стало скушно,
но полегчало мокрым плавникам.

Июнь — июль 1984

Мотель-кемпинг «Ольгино»

ПОСТОЙ

Не полюбить бы этот дом чужой,
где звук чужой пеняет без утайки
пришельцу, что еще он не ушел:
де, странник должен странствовать, не так ли?

Иль полюбить чужие дом и звук:
уменьшиться, привадиться, втесаться,
стать приживалой сущего вокруг,
свое — прогнать и при чужом остаться?

Вокруг — весны разор и красота,
сырой песок, ведущий в Териоки.
Жилец корпит и пишет: та-та-та,—
диктант насильный заточая в строки.

Всю ночь он слышит сильный звук чужой:
то измышленья прежних постояльцев,
пока в окне неистощим ожог,
снуют, отбившись от умов и пальцев.

Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив
забыт иль за ненадобностью брошен?
Непосвященный слушатель молчит.
Он дик, смешон, давно ль он ел — не спрошен.

Длиннее звук, чем маленькая тьма.
Затворник болен, но ему не внове
входить в чужие звуки и дома
для исполнения их капризной воли.

Он раболепен и душой кривит.
Составленный вчерне из многоточья,
к утру готов бесформенный клави́р
и в стройные преобразован ключья.

Покинет гость чужие дом и звук,
чтоб никогда сюда не возвращаться
и тосковать о распре музык двух.
Где — он не скажет. Где-то возле счастья.

11—12 мая 1985

Ретину

* * *

Всех обожании бедствие огромно.
И не совпасть, и связи не прервать.
Так навсегда, что даже у надгробья, —
потупившись, не смея быть при Вас, —
изъявленную внятно, но не грозно
надземную приемлю неприязнь.

При веяньях залива, при закате
стою, как нищий, согнанный с крыльца.
Но это лишь усмешка, не проклятье.
Крест благородней, чем чугун креста.
Ирония — избранников занятие.
Туманна окончательность конца.

12 мая 1985

Комарово

ДОМ С БАШНЕЙ

Луны еще не вдосталь, а заря ведь
уже сошла — откуда взялся свет?
Сеть гамака ужасная зияет.
Ах, это май: о тьме и речи нет.

Дом выпранный на берегу залива.
В саду — гамак. Всё упустила сеть,
но не пуста: игриво и лениво
в ней дней былых полёживает смерть.

Бывало, в ней покачивалась дрёма
и упал том Стриндберга из рук.
Но я о доме. Описание дома
нельзя построить наобум и вдруг.

Проект: осанку вычурного замка
венчают башни шпиль и витражи.
Красавица была его хозяйка.
— Мой ангел, пожелай и прикажи.

Поверх кустов сирени и малины —
балкон с пространством видом на залив.
Всё гости, фейерверки, именины.
В тот майский день молился ль кто за них?

Сооруженье: вместе дом и остров
для мыслящих гребцов средь моря зла.
Здесь именитый возвещал философ
(он и поэт): — Так больше жить нельзя!

Какие ночи были здесь! Однако
хозяев нет. Быть дома ночью — вздор.
Пора бы знать: «Бродячая собака»
лишь поздним утром их отпустит в дом.

Замечу: знаменитого подвала
таинственная гостя лишь одна
навряд ли здесь хотя бы раз бывала,
иль раз была — но боле никогда.

Покой и прелесть утреннего часа.
Красотка-финка самовар внесла.
И гимназист, отрекшийся от чая,
всех пристыдил: — Так больше жить нельзя!

В устройстве дома — вольного абсурда
черты отрадны. Запределен бред
предположенья: вдруг уйти отсюда.
Зачем? А дом? А башня? А крокет?

Балы, спектакли, чаепитья, пренья.
Коса, румянец, хрупкость, кисея —
и голосок, отвлекшийся от пенья,
расплакался: — Так больше жить нельзя!

Влюблялись, всё смеялись и стрелялись
нередко, страстно ждали новостей.
Дом с башней ныне — робкий постоялец,
чуждак изгой на родине своей.

Нет никого. Ужель и тот покойник —
незнаемый, тот, чей гамак дыряв,
к сосне прибивший ржавый рукомойник,
заткнувший щели в окнах и дверях?

Хоть не темнеет, а светает рано.
Лет дому сколько? Менее, чем сто.
Какая жизнь в нём сильная играла!
Где это всё? Да было ль это всё?

Я полюбила дом, и водостока
резной узор, и, более всего,
со шпилем башню и цветные стёкла.
Каков мой цвет сквозь каждое стекло?

Мне кажется, и дом меня приметил.
Войду в залив, на камне постою.
Дом снова жив, одушевлен и светел.
Я вижу дом, гостей, детей, семью.

Из кухни в погреб золотистой финки
так весел промельк! Как она мила!
И нет беды печальней детской свинки,
всех ужаснувшей, — да и та прошла.

Так я играю с домом и заливом.
Я занята лишь этим пустяком.
Над их ко мне пристрастием взаимным
смеется кто-то за цветным стеклом.

Как всё сошлось! Та самая погода,
и тот же тост: — Так больше жить нельзя!
Всего лишь май двенадцатого года:
ждут Сапунова к ужину не зря.

12—13 мая 1985

Ретино

* * *

Темнеет в полночь и светает вскоре.
Есть напряжение в столь условной тьме.
Пред-свет и свет, словно залив и море,
слились и перепутались в уме.

Как разгляжу незримость их соитья?
Грань меж воды я видеть не могу.
Канун всегда таинственной события —
так мнится мне на этом берегу.

Так зорко, что уже подслеповато,
так чутко, что в заумии звенит,
я стерегу окно, и непонятно:
чем сам себя мог осветить залив?

Что предпочесть: бессонницу ли? сны ли?
Во сне видней что видеть не дано.
Вслепую — книжки Блока записные
я открываю. Пятый час. Темно.

Но не совсем. Иначе как я эти
слова прочла и поняла мотив:
«Какая безысходность на рассвете».
И отворилось зренье глаз моих.

Я вышла. Бодрый север по заливку
трепал меня, отверстый нюх солил.
Рассвету вспять я двинулась к заливу
и далее, по валунам, в залив.

Он морем был. Я там остановилась,
где обрывался мощный край гряды.
Не знала я: принять за гнев иль милость
валы непроницаемой воды.

Да, уж про них не скажешь, что лизнули
резиновое облачение ног.
И никакой поблажки и лазури:
горбы судьбы с поклажей вечных нош.

Был камень сведущ в мысли моря тайной.
Но он привык. А мне, за все века,
повиснуть в них подробностью случайной
впервой пришлось. Простите новичка.

«Какая безысходность на рассвете».
Но рассвело. Свет боле не иском.
Неужто прыткий получатель вести
ее обманет и найдет исход?

Вдруг возгорелась вкрапина гранита:
смотрел на солнце великанский лоб.
Моей руке шершаво и ранимо
отозвалась незыблемая плоть.

«Какая безысходность на рассвете».
Как весел мне мой ход поверх камней.
За главный смысл лишь музыка в ответе.
А здравый смысл всегда перечит ей.

13–14 мая 1985

Ретину

* * *

Завидев дом, в испуге безъязыком,
я полюбила дома синий цвет.
Но как залива нынче цвет изыскан:
сам как бы есть, а цвета вовсе нет.

Вода вольна быть призрачна, но слово
о ней такое ж — не со-цветно ей.
Об имени для цвета никакого
ты, синий дом, не думай, а синей!

А занавески желтые на окнах!
Утешно сине-желтое пятно.
И дома-балаганчика невольник
не веселей, должно быть, чем Пьеро.

Я слышала, и обвели чернила,
след музыки, что прежде здесь жила.
Так яблоко, хоть полно, но червиво.
Так этих стен ущербна тишина.

То ль слуху примерещилась больному
двоюродная мука грёз и слёз,
то ль не спалось подкидышу-бемолю.
Потом прошло, затихло, улеглось.

Увы тебе, грядущий мой преемник,
таинственный слагатель партитур.
Не преуспеть тебе в твоих пареньях:
в них чуждые созвучья прорастут.

Прости меня за то, что озарили
тебя затмения моего ума.
Всегда ты будешь думать о заливе.
Тебя возьмется припекать луна.

Потом пройдет. Исчезнет звук насильный,
но он твою не оскорбил струну.
Прошу тебя: люби мой домик синий
и занавесок яд и желтизну.

Они причастны тайне безобидной.
Я не смогу покинуть их вполне,
как близко сущий, но сейчас не видный
залив в моём распахнутом окне.

И что залив, загадка, поволока?
Спросила — и ответа заждалась.
Пожалуй, имя молодого Блока
подходит цвету, скрытому от глаз.

14 мая 1985

Ретино

ПОБЕРЕЖЬЕ

Николаю Гумилеву

Не грех ли на залив сменять
дом колченогий, пусторукий,
о том, что есть, не вспоминать,
иль вспоминать с тоской и мукой.

Руинам предпочесть родным
чужого бытия обломки
и городских окраин дым
вдали — принять за весть о Блоке.

Мысль непрестанная о нём
больному Блоку не поможет,
и тот обещанный лимон
здоровье чье-то в чай положит.

Но был так сильно, будто есть
день упоенья, день надежды.
День притаился где-то здесь,
на этом берегу,— но где же?

Не тяжек грех — тот день искать
в камнях и песках рассвета.
Но не бесчувственна ли мать,
избравшая занятие это?

Упрочить сердце, и детей
подкинуть обветшалою детской,
и ослабеть для слёз о тех,
чье детство — крайность благоденствий.

Услышат все и не поймут
намёк судьбы, беды предвестье.
Ум, возведённый в абсолют,
не грамотен в аз, буки, ведеи.

Но дом так чудно островерх!
Канун каникул и варенья,
день Ангела, и фейерверк,
том золоченый Жюля Верна.

Всё потерять, страдать, стареть —
всё ж меньше, чем пролет дороги
из Петербурга в Сестрорецк,
Куоккалу и Териоки.

Недаром протяжён уют
блаженных этих остановок:
ведь дальше — если не убьют —
Ростов, Батум, Константинополь.

И дальше — осенит крестом
скупым Святая Женевьева.
Пусть так. Но будет лишь потом
всё то, что долго, что мгновенно.

Сначала — дама, господин,
приникли кружева к фланели.
Всё в мире бренно — но не сын,
вверх-вниз гоняющий качели.

Не всякий под крестом, кто юн
иль молод, мёртв и опозорен.
Но обруч так летит вдоль дюн,
июнь, и небосвод двузорен.

И господин и дама — тот
имеют облик, чье решение —
труды истории, итог,
триумф ее и завершение.

А как же сын? Не надо знать.
Вверх-вниз летят его качели,
и юная бледнеет мать,
и никнут кружева к фланели.

В Крыму, похожий на него,
как горд, как мёртв герой поручик.
Нет, он — дитя. Под Рождество
какие он дары получит!

А чудно островерхий дом?
Ведь в нём как будто учреждение?
Да нет! Там елка под замком.
О Ты, чье празднуют рождение,

Ты милосерд, открой же дверь!
К серьгам, браслетам и оковам
привыкла ли турчанка-ель?
И где это — под Перекопом?

Забудь! Своих детей жалея
за то, что этот век так долог,
за вырубленность их аллея,
за бедность их безбожных елок,

за не-язык, за не-латынь,
за то, что сирый ум — бледнее
без книг с обрезом золотым,
за то, что Блок тебе большее.

Я и жалею. Лишь затем
стою на берегу залива,
взирая на чужих детей
так неотрывно и тоскливо.

Что пользы днём с огнем искать
снег прошлогодний, ветер в поле?
Но кто-то должен так стоять
всю жизнь возможную — и доле.

14—15 мая 1985

Ретино

ПОСТУПОК РОЗЫ

Памяти Н.Н. Сапунова

«Как хороши, как свежи...» О, как свежи,
как хороши! Пять было разных роз.
Всему есть подражатели на свете
иль двойники. Но роза розе — рознь.

Четыре сразу сгнули. Но главной
был так глубок и жадно-дышащ зев:
когда б гортань стать захотела гласной, —
рык издала бы роза — царь и лев.

Нет, всё ж не так. Я слышала когда-то,
мне слышалось, иль выдуманно мной
безвыходное низкое контральто:
вулканный выдох глубины земной.

Речей и пенья на высоких нотах
не слышу: как-то мелко и мало.
Труд розы — вдох. Ей не положен отдых.
Трудись, молчи, сокровище моё.

Но что же запах, как не голос розы?
Смолкает он, когда она мертва.
Прости мои развязные вопросы.
Поговорим, о госпожа моя.

Куда там! Норов розы не покладист.
Вдруг аромат — отлёт ее души?
Восьмой ей день. Она свежа покамест.
Как свежи, Боже мой, как хороши

слова совсем бессмысленной и нежной,
прелестной и докучливой строки.
И роза, вместо смерти неизбежной,
здоровая — здравомыслию вопреки.

Светает. И на синеве, как рана,
отверсто горло розы на окне
и скорбно черно-алое контральто.
Сама ль я слышу? Слышится ли мне?

Не с повеленьем, а с монаршей просьбой
не спорить же. К заливу я иду.
— О, не шути с моей великой розой! —
прошу и розу отдаю ему.

Плыви, о роза, бездну украшая.
Ты выбрала. Плыви светло, легко.
От Териок водою до Кронштадта,
хоть это смерть, не так уж далеко.

Волнам предайся, как художник милый
в ночь гибели, для века роковой.
До берега, что стал его могилой,
и ты навряд ли доплывешь живой.

Но лучше так — в разгар судьбы и славы,
предчувствуя, но зная избегав.
Как он спешил! Как нервы были правы!
На свете так один лишь раз спешат.

Не просто тело мёртвое качалось
в бесформенном удушии воды —
эпоха упования кончалась
и занимался крах его среды.

Вы встретитесь! Вы стоите друг друга:
одна осанка и один акцент,
как принято средь избранного круга,
куда не вхож богатый фармацевт.

Я в дом вошла. Стоял стакан коряво.
Его настой другой цветок лакал.
Но слышалось бездонное контральто,
и выдох уст еще благоухал.

Вот истечение поминальных суток
по розе. Синева и пустота.
То — гордой розы собственный поступок.
Я ни при чём. Я розе — не чета.

15—16 мая 1985

Ретину

ГРЯДА КАМНЕЙ

I

Как я люблю гряды моих камней,
моих, моих! — и камни это знают,
и череду пустых и светлых дней,
из коих каждый лишь заливом занят.

Дарован день — и сразу же прощен.
Его изгиб — к заливу приниканье.
Привадились прыжок, прыжок, прыжок
на крайнем останавливаться камне.

Мой этот путь проторен столько крат,
так пристально то медлил, то парил он,
что в опыт камня свой принёс карат
моих стояний и прыжков период.

Гряда моя вчера была черна,
свергал меня валун краеугольный.
Потопная воды величина
вал насылала, сумрачный и вольный.

Чуть с ног не сбил и до лица достал
взрыв бурных брызг. Лишь я и многоводность.
Коль смоем море лишнюю деталь,
не будет ничего здесь, никого здесь.

В какую даль гряди ни протянуть —
пунктир тысячелетий до Кронштадта.
Кто это — Петр? Что значит — Петербург?
Века проходят, волны в пыль крошатся.

Я не умею помышлять о том.
Не до того мне. Как недавней рыбе
не занестись? Она — уже тритон,
впервой вздохнувший на гранитной глыбе.

Как хорошо, что жабрам и хвосту
осознавать не надо бесконечность.
Не боязлив мой панцирь, я расту,
и мне уютна отчая кромешность.

Еще ничьи не молвили уста
над непробудной бездной молодой:
«Земля была безвидна и пуста,
и Божий Дух носился над водою».

Вдруг новое явилось существо.
Но явно: то — другая разновидность,
движение двух конечностей его
приблизилось ко мне, остановилось.

Спугнувший горб и перепонки лап,
пришелец сам подавлен и растерян.
Непостижимый первобытный взгляд
страшит его среди сырых расщелин.

Пришлось гасить сверканье чешуи,
сменить обличье, утаить породу
и тьмы времен прожить для чепухи —
раскланяться и побранить погоду.

Ознобно ждать, чтобы чужак ушел,
в беседе задышаться подневольной,
вернуться в дом: прыжок, прыжок, прыжок
и вновь предаться думе земноводной.

II

Как я люблю гряды моих камней,
простёртую в даль моего залива,—

прочь от строки, влачащейся за ней.
Как быть? Строка гряды не разлюбила.

Я тут как тут в едва шестом часу.
Сон — краткий труд, зато пространен роздых.
Кронштадт — вдали, поверх и навесу,
словно Карсавина, прозрачно розов.

Андреевский собор, опять пришел
к тебе мой взор — твой нежный прихожанин.
Гряда: шаг, шаг, стою, прыжок, прыжок,
стою. Вдох легких ненасытно жаден.

Целую воду. Можно ли воды
чуть-чуть испить? — Пей вдоволь! — Смех залива
пью и целую. Я люблю гряды
все камни — безутешно, но взаимно.

Я слышу ласку сдержанных камней,
ладонью взгорбья их умов читая,
и различаю ошупью моей
обличий и осанок очертанья.

Их формой сжата формула времён,
вся длительность и вместе краткий вывод.
Смысл заточен в гранит и утаён —
укрыть смысла наблюдатель видит.

Но осязает чуткая рука
ответный пульс слежавшихся энергий,
и стиснутые, спёртые века
теплы и внятны коже многонервной.

Как пусто это сказано: века.
Непостижимость силясь опровергнуть,
в глубь тайны прянет вглядчивость зрачка —
и слепо расшибется о поверхность.

Миг бытия вмещается в зазор
меж камнем и ладонью. Ты теряешь

его в честь камня. Твой недвижим взор,
и голос чайки душераздирающ.

Воздвигнув на заглавном валуне
свой штрих непрочный над пустыней бледной,
я думаю: на память обо мне
останется мой камень заповедный.

Но — то ль Кронштадт меня в залив сманил,
то ль сам слизнул беспечный смех залива —
я в нём. Над унижением моим
белеет чайка стройно и брезгливо.

Бывает день, когда смешливость уст —
занятое дня, забывшего про вечность.
Я отрясаю мокрость и смеюсь.
Родную брэнность не пора ль проведать?

Оскальзываюсь, вспять гряды иду,
оглядываюсь на воды далёкость.
И в камне, замыкающем гряду,
оттиснута мгновенья мимолётность.

III

Как я люблю — гряды или строку,
камней иль слов — не разберу спросонок.
Цвет ночи, подступающей к окну,
пустой страницей на столе срисован.

Глаз дня прикрыт — мгновенье ока: тьма —
и снова зряч. Жизнь лакомств сокрушая,
гром дятла грянул в честь житья-бытья.
Ночь возвращает зренью долг Кронштадта.

Его объем над плосководьем волн —
как белый профиль дымчатой камеи.
Из ряда прочих видимостей вон
он выступил, приемля поклоненье.

Как я люблю гряды...— но я смеюсь:
тону в строке, как в мелкости прибрежной.
Пытается последней мглы моллюск
спастись в затворе раковины нежной.

Но сумрак вскрыт, разъят, преодолен
сверканьем, — словно, к ужасу владельца,
заветный отворили медальон,
чтоб в хрупкое сокровище взглядеться.

И я из тех, кто пожелал глядеть.
Сон был моей случайною ошибкой.
Всё утро, весь пред-белонощный день
залив я озираю беззащитный.

Он — содержание мысли и окна.
Но в полночь просит: — Не смотри, не надо!
Так — нагота лица утомлена,
зачитана сторонней волей взгляда.

Пока залив беспомощно простёр
все прихоти свои, все поведенья,
я знаю, *как* гнетет его присмотр:
сама — зевак законные владенья.

Что — я! Как нам залив не расплескать?
Паломники его рассветной рани
стекаются с припасами пластмасс
и беспородной рукотворной дряни.

День выходной: день — выход на разбой.
Поруганы застенчивые дюны,
и побирушкой роется прибор
в останках жалкой и отравной дури.

Печальный звук воздымлен на устах
залива: — Всё тревожишь, всё неволишь.
Что мне они! Хоть ты меня оставь.
Мое уединение — мое лишь.

Оно — твое лишь. Изнутри запри
покрепче перламутровые створки.
Есть время от зари и до зари.
Ночь сплющена в его ужайшем сроке.

Я задвигаю занавес. Бледны
залив и я в до-утренних кулисах —
в его, в моих. Но сбивчивой волны
бег неусыпен в наших схожих лицах.

Меня ночным прохожим выдает,
сквозь штор неплотность, лампы процветанье.
Разоблаченный рампой водоём
забыл о ней и предается тайне.

Прощай, гряды, прощай, строка о ней.
Залив, зачем всё больно, что родимо?
Как далеко ведет гряда камней,
не знала я, когда по ней бродила.

Май 1985

Ретино

* * *

Этот берег — только бред двух схватившихся зорь,
двух эпох, что не равно померялись мощью,
двух ладоней, прихлопнувших маленький вздор —
надоевшую невозродимую мошку.

Пролетал-докучал светлячок-изумруд.
Усмехнулся историк, заплакал ботаник,
и философ решал, как потом назовут
спор фатальных предчувствий и действий батальных.

Меньше века пройдёт, и окажется прав
не борец-удалец, а добряк энтомолог,
пожалевший пыльцу, обращенную в прах:
не летит и не светится — страшно, темно ведь.

Новых крыл не успели содеять крыла,
хоть любили, и ждали, и звали кого-то.
И — походка корява и рожа крива
у хмельного и злого урода-курорта.

Но в отдельности — бедствен и жалостен лик.
Всё покупки, посылки, котомки, баулы.
Неужель я из них — из писателей книг?
Нет, мне родственней те, чьи черты слабоумны.

Как и выжить уму при большом, молодом
ветре моря и мая, вскрывающем почки,
под загробный, безвыходный стук молотков,
в продуктовые ящики бьющий на почте?

Я на почту пришла говорить в телефон,
что жива, что люблю. Я люблю и мертвею.
В провода, соединившие день деловой,
плач влетает подобно воздушному змею.

То ль весна сквозь слезу зелена, то ль зрачок
робкой девочки море увидел и зелен,
то ль двужилен и жив изумруд-светлячок,
просто скрытен — теперь его опыт надземен.

Он следит! Он жалеет! Ему не претит
приласкать безобразия горб многотрудный.
Он — слетит и глухому лицу причинит
изумляющий отсвет звезды изумрудной.

В ночь на 27 мая 1985

Ретино

* * *

Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет,
но воздуха и вод удвоен гласный звук,
как если б кто-то был и вымолвил: Коонен...
О ком он? Сонм колонн меж белых твердей двух.

Я помню голос тот, неродственный канонам
всех горл: он одинок единогогласья средь,
он плоской высоте приходится каньоном
и зренью приоткрыт многопородный срез.

Я слышала его на поминанье Блока.
(Как грубо молода в ту пору я была.)
Из перьев синих птиц, чья вотчина — эпоха
былая, в дне чужом нахохлилось боа.

Ни перьев синих птиц, ни поминанья Блока
уныньем горловым — понять я не могла.
Но сколько лет прошло! Когда боа поблёлкло,
рок маленький ко мне послал его крыла.

Оо, какой простор! Но кто сказал: Коонен?
Акцент долгот присущ волнам и валунам.
Аа — таков ответ незримых колоколен.
То — эхо возвратил недалний Валаам.

4—5 июня 1985

Сортавала

* * *

Мне дан июнь холодный и пространный
и два окна: на запад и восток,
чтобы в эпитет ночи постоянный
вникал один, потом другой висок.

Лишь в полночь меркнет полдень бесконечный,
оставив блик для рыбы и блесны.
Преобладанье призелени нежной
главенствует в составе белизны.

Уже второго часа половина,
и белой ночи сложное пятно
в ее края невхожего павлина
в залив роняет зрячее перо.

На любованье маленьким оттенком
уходит час. Светло, но не рассвет.
Сверяю свет и слово — так аптекарь
то на весы глядит, то на рецепт.

Кирьява-Лахти — имя вод окольных,
пред-Ладожских. Вид из окна — ушел
в расплывчатость. На белый подоконник
будильник белый грубо водружен.

И не бела цветная ночь за ними.
Фиалки проступают на скале.
Мерцает накипь серебра в заливе.
Синеет плащ, забытый на скамье.

Четвертый час. Усилен блеск фиорда.
Метнулась птицы взбалмошная тень.
Распахнуты прозрачные ворота.
Весь розовый, в них входит новый день.

Еще ночные бабочки роятся.
В одном окне — фиалки и скала.
В другом — огонь, и прибылью румянца
позлащена одна моя скула.

5—6 июня 1985

Сортавала

ШЕСТОЙ ДЕНЬ ИЮНЯ

Словно лев, охраняющий важность ворот
от пролаза воров, от досужего сглаза,
стерегу моих белых ночей приворот:
хоть ненадобна лампа, а всё же не гасла.

Глаз недрёмано-львиный и нынче глядел,
как темнеть не умело, зато рассветало.
Вдруг я вспомнила — Чей занимается день,
и не знала: как быть, так мне весело стало.

Растревожила печку для пущей красы,
посылая заре измышление дыма.
Уу, как стал расточитель червонной казны
хохотать, и стращать, и гудеть нелюдимо.

Спал ребенок, сокрыто и стройно летя.
И опять обожгла безоплошность решенья:
Он сегодня рожден и покуда дитя,
как всё это недавно и как совершенно.

Хватит львом чугунеть! Не пора ль пировать,
кофеином ошпарив зевок недосыпа?
Есть гора у меня, и крыльца перевал
меж теплом и горою, его я достигла.

О, как люто, как северно блещет вода.
Упасенье черемух и крах комариный.
Мало севера мху — он воззрился туда,
где магнитный кумир обитает незримый.

Есть гора у меня — из гранита и мха,
из лишайных диковин и диких расщелин.
В изначалье ее укрывается мгла
и стенает какой-то пернатый отшельник.

Восхожу по крутым и отвесным камням
и стыжусь, что моя простодушна утеха:
всё памяти милые прячу в карман —
то перо, то клочок золотистого меха.

Наверху возлежит триумфальный валун.
Без оглядки взошла, но меня волновало,
что на трудность подъема уходит весь ум,
оглянулась: сиял Белый скит Валаама.

В нижнем мраке еще не умолк соловей.
На възглыбии выпуклом — пекло и стужа.
Чей прозрачный и полый вон тот силуэт —
неподвижный зигзаг ускользанья отсюда?

Этот контур пустой — облаченье змеи,
«выползина». (О, как Он расспрашивал Даля
о словечке!) Добычливы руки мои,
прытки ноги, с горы напрямик упадая.

Мне казалось, что смотрит нагая змея,
как себе я беру ее кружев обноски,
и смеется. Ребёнок заждется меня,
но подарком змеи как упьется он после!

Но препона была продвижению вниз:
на скале, под которою зелен мой домик, —
дрожь остуды, сверканье хрустальных ресниц,
это — ландыши, мытарство губ и ладоней.

Дале — книгу открыть и отдать ей цветок,
в ней и в небе о том перечитывать повесть,
что румяной зарёю покрылся восток,
и обдумывать эту чудесную новость.

6—7 июня 1985

Сортавала

ЧЕРЕМУХА БЕЛОНОЩНАЯ

Черемухи вдыхатель, воздыхатель,
опять я пью настой ее души.
Пристрастьем этим утомлен читатель,
но мысль о нём не водится в глуши.

Май подмосковный жизнь ее рассеял
и сестрорецкий позабыл июнь.
Я снегирем преследовала север,
чтобы врасплох застать ее канун.

Фиалки собирала Сортавала,
но главная владычица камней
еще свои намеренья скрывала,
еще и слуху не было о ней.

И кто она? Хоть родом из черемух —
не ищет и чурается родства.
Вдоль строгих вод серебряно-черненных
из холода она произросла.

Я — вчуже ей, южна и чужестранна.
Она не сообщительна в цвету:
нисколько задушевничать не стала,
в неволю не пошла на поводу.

Рубаха-куст, что встрёпан и распахнут,
ей жалок. У нее другая статья.
Как замкнуто она, как гордо пахнет —
ей не пристало ноздри развлекать.

Когда бы поэтических намёков
был ведом слог красавице моей, —
ей был бы предпочтителен Набоков.
А с челядью — зачем якшаться ей?

Что делать мне? К вниманию маньяка
черемуха брезглива и слепа.
Не ровня ей навязчивый меняла
запретных тайн на мелкие слова.

Она — бельмо в моих глазах усталых
и кисея завесы за окном:
в ее черте, в урочище русалок
был возведен бледно-зеленый дом.

Дом и растение призрачны на склоне
горы, бледно-зеленом, как они.
Все здесь бледны, все зелены, но вскоре
порозовеет с правой стороны.

Ночного света маленькая убыль.
Внутри огня, помоста на краю,
с какой тоской: — Она меня не любит! —
я голосом Сальвини говорю.

Соцветья суверенные повисли,
но бодрствуют. Кому она верна?
Зачем не любит? Как ее по-фински
зовут? С утра спрошу у словаря.

...Нет надобного словаря в читальне.
Не утерпевшей на виду не быть,
пусть имя маски остается в тайне —
не Блоку же перечить и грубить.

Записку мне послала Сортавала.
Чья милая, чья добрая рука
для блажи чужака приоткрывала
родную одинокость языка?

Всё нежность, нежность. И не оттого ли
растенье потупляет наготу
пред грубым взором? Ведь она — туоми.
И кукива туоми, коль в цвету.

Туоми пуу — дерево. Не легче
от этого. Вблизи небытия
ответствует черемухи наречье:
— Ступай себе. Я не люблю тебя.

Еще свежа и голову туманит.
Ужель вся эта хрупкость к сентябрю
на ягоды пойдет? (Туоменмарьят —
я с тайным раздраженьем говорю.)

И снова ночь. Как удалась мгновенью
такая закись света и темна?
Туоми, так ли? Я тебе не верю.
Прощай, Туоми. Я люблю тебя.

7—9 июня 1985
Сортавала

* * *

Не то, чтоб я забыла что-нибудь, —
я из людей, и больно мне людское, —
но одинокий мной проторен путь:
взойти на высший камень и вздохнуть,
и всё смотреть на озеро морское.

Туда иду, куда меня ведут
обочья скал, лиловых от фиалок.
Возглавие окольных мхов — валун.
Я вглядываюсь в север и в июнь,
их распластав внизу, как авиатор.

Меня не опасается змея:
взгляд из камней недвижим и разумен.
Трезубец воли, скрытой от меня,
связует воды, глыбы, времена
со мною и пространство образует.

Поднебно вздыбье каменных стропил.
Кто я? Возьму державинское слово:
я — некакий. Я — некий нетопырь,
не тороплив мой лёт и не строптив
чуть выше обитания земного.

Я думаю: вернуться ль в род людей,
остаться ль здесь, где я не виновата
иль прощена? Мне виден ход ладей
пред-Ладожский и — дальше и левей —
нет, в этот миг не видно Валаама.

8—9 июня
Сортавала

* * *

Здесь никогда пространство не игриво,
но осторожный анонимный цвет —
уловка пряток, ночи мимикрия:
в среде черемух зримой ночи нет.

Но есть же! — это мнение циферблата,
два острия возведшего в зенит.
Благоуханье не идет во благо
уму часов: он невпопад звенит.

Бескровны формы неба и фиорда.
Их полых впадин кем-то выпит цвет.
Диковиной японского фарфора
черемухи подрагивает ветвь.

Восславив полночь дребезгами бреда,
часы впадают в бледность забытья.
Взор занят обреченно и победно
черемуховой гроздью бытия.

10—11 июня 1985

Сортавала

* * *

Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет,
от соседства-родства упасенный отшибом.
Лишь увидела дом — я подумала: вот
обиталище надобных снов и ошибок.

В его главном окне обитает вода,
назовем ее Ладогой с малой натяжкой.
Не видна, но Полярная светит звезда
в потайное окно, притесненное чашей.

В эти створки гляжу, как в чужой амулет
иль в укрытие слизня, что сглазу не сносит.
Склон горы, опрокинувшись и обомлев,
дышит жабрами щелей и бронхами сосен.

Дом причастен воде и присвоен горой.
Помыкают им в очередь волны и камни.
Понукаемы сдвоенной белой зарей
приклоненье хребта и хвоста пресмыканье.

Я люблю, что его чешуя зелена.
И ночному прохожему видно с дороги,
как черемухи призрак стоит у окна
и окна выражение потусторонне.

Дому придан будильник. Когда горизонт
расплывется и марля от крыльев злоторных
добавляет туману — пугающий звон
издает заточенный в пластмассу затворник.

Дребезжит самовольный перпетуум-плач.
Ветвь черемухи — большего выпуклый образ.
Второгодник, устав от земных неудач,
так же тупо и пристально смотрит на глобус.

Полночь — вот вопросительной ветви триумф.
И незримый наставник следит с порицанием.
О решение задачи сносился мой ум.
Вид пособия наглядного непроницаем.

Скудость темени — свалка пустот и чернот.
Необщительность тайны меня одолеет,
О, узреть бы под утро прозрачный чертог
вместо зыбкого хаоса, как Менделеев.

Я измучилась на белонощном посту,
и черемуха перенасыщена мною.
Я, под панцирем дома, во мхи уползу
и лицо оплесну неразгаданной мглюю.

Покосившись на странность занятий моих,
на работу идет непроснувшийся малый.
Он не знает, что грустно любим в этот миг
изнуренным окном, перевязанным марлей.

Кто прощает висок, не познавший основ?
Кто смешливый и ласковый смотрит из близости?
И колышется сон... убаюканный сон...
сон-аргентум в отчетливой отчей таблице.

11—12 июня 1985

Сортавала

* * *

Я — лишь горы моей подножье,
и бытия величина
в жемчужной раковине ночи
на весь июнь заточена.

Внутри немеркнувшего нибма
души прижился завиток.
Иль Ибсена закрыта книга,
а я — засохший в ней цветок.

Всё кличет кто-то: «Сольвейг! Сольвейг!»
в чащобах шхер и словарей.
И, как на исповеди совесть,
блаженно страдает соловей.

В жемчужной раковине ночи,
в ее прозрачной свето-тьме
не знаю я сторонней нови,
ее гонец не вхож ко мне.

Мгновенье сомкнутого ока
мою зеницу бережет.
Не сбережет: меня жестоко
всеобщий призовет рожок.

Когда в июль слепящий выйду
и вспомню местность и людей,
привыкну ль я к чужому виду
наружных черт судьбы моей?

Дни станут жарче и короче,
и чайка выключет чуть свет
в жемчужной раковине ночи
невзрачный водянистый след.

12—13 июня 1985

Сортавала

* * *

Где Питкяранта? Житель питкярантский
собрался в путь. Автобус дребезжит.
Мой тайный глаз, живущий под корягой,
автобуса оглядывает жизнь.

Пока стоим. Не поспешает к цели
сквозной приют скитальцев и сирот.
И силуэт старинной финской церкви
в проеме арки скорбно предстает.

Грейпфрут — добыча многих. Продавала
торговли придурь неуместный плод.
Эх, Сердоболь, эх, город Сортавала!
Нюх отворён и пришлый запах пьёт.

Всех обликов так скудно выраженье,
так загнан взгляд и неказиста стать,
словно они эпоху Возрожденья
должны опровергать и попирасть.

В дверь, влопыхах, три девушки скакнули.
Две первые пригожи, хоть грубы.
Содеяли уроки физкультуры
их наливные руки, плечи, лбы.

Но простодушна их живая юность,
добротна плоть, и дело лишь за тем
(он, кстати, рядом), кто зрачков угрюмость
примерит к зову их дремотных тел.

Но я о той, о третьей их подруге.
Она бледна, расплывчато полна,
пьяна, но четко обнимают руки
припасы бедной снеди и вина.

Совсем пьяна, и сонно и безгрешно
пустует глаз, безвольно голубой,
бесцветье прядей Ладоге прибрежно,
бесправье черт простёрто пред судьбой.

Поехали! И свалки мимолётность
пронзает вдруг единством и родством:
котомки, тетки, дети, чей-то локоть —
спасемся ль, коль друг в друга прорастём?

Гремим и едем. Хвойными грядами
обведено сверкание воды.
На всех балконах — рыбьих душ гирлянды.
Фиалки скал издалика видны.

Проносится роскошный дух грейпфрута,
словно гуляка, что потряхнул мошной.
Я озираю, мучась и ревнуя,
сокровища черемухи сплошной.

Но что мне в этой, бледно-белой, блёклой,
с кульками и бутылками в руках?
Взор, слабоумно-чистый и далекий,
оставит грамотея в дураках.

Ее толкают: — Танька! — дремлет Танька,
но сумку держит цепкостью зверька.
Блаженной, древней исподволи тайна
расширила бессмыслицу зрачка.

Должно быть, снимок есть на этажерке:
в огромной кофте Танька лет пяти.
Готовность к жалкой и неясной жертве
в чертах приметна и сбылась почти.

Да, этажерка с розаном, каморка.
В таких стенах роль сумки велика.
Брезгливого и жуткого кого-то
в свой час хмельной и Танька завлекла.

Подружек ждет обнимка танцплощадки,
особый смех, прищуриванье глаз.
Они уйдут. А Таньке нет пощады.
Пусть мается — знать, в мае родилась.

С утра не сыщет маковой росинки.
Окурки, стужа, лютая кровать.
Как размыкать ей белые ресницы?
Как миг снести и век провековать?

Мне — выходить. Навек я Таньку брошу.
Но всё она стоит передо мной.
С особенной тоской я вижу брошку:
юродивый цветочек жестяной.

13—14 июня 1985
Сортавала

НОЧНОЕ

Ночные измышленья, кто вы, что вы?
Мне жалко вашей робкой наготы.
Жаль, что нельзя, нет сил надвинуть шторы
на дождь в окне, на мокрые цветы.

Всё отгоняю крылья херувима
от маленького ада ночника.
Черемуха — слепая балерина —
последний акт печально начала.

В чём наша связь, писания ночные?
Вы — белой ночи собственная речь.
Она пройдет — и вот уже ничьи вы.
О ней на память надо ль вас беречь?

И белый день туманен, белонощен.
Вниз поглядеть с обрыва — всё равно
что выхватить кинжал из мягких ножен:
так вод холодных остро серебро.

Дневная жизнь — уловка, ухищренье
приблизить ночь. Опаска всё сильней:
а вдруг вчера в над-ладожском ущелье
дотла испепелился соловей?

Нет, Феникс мой целёхонек и свищет:
слог, слог — тире, слог, слог — тире, тире.
Пунктира ощупь темной цели ищет,
и слаще слова стопор слов в строке.

Округла полночь. Всё свежо, всё внове.
Я из чужбины общей ухожу
и возвращаюсь в отчье, в ночное.
В ночное — что? В ночное — что хочу.

14—15 июня 1985

Сортавала

* * *

Вся тьма — в отсутствии, в опале,
да несподручно без огня.
Пишу, читаю — но лампы
нет у людей, нет у меня.

Электрик запил, для элегий
тем больше у меня причин,
но выпросить простых энергий
не удалось мне у лучин.

Верней, лучинушки-лучины
не добыла, в сарай вошел:
те, кто мотиву научили,
сокрыли, как светец возжечь.

Немногого недоставало,
чтоб стала жизнь моя красна,
веретено мое сновало,
свисала до полу коса.

А там, в рубахе кумачовой,
а там, у белого куста...
Ни-ни! Брусникою мочёной
прилежно заняты уста.

И о свече — вотще мечтанье:
где нынче взять свечу в глуши?
Не то бы предавалась тайне
душа вблизи ее души.

Я б села с кротким рукодельем...
ах, нет, оно несносно мне.
Спросила б я: — О, Дельвиг, Дельвиг,
бела ли ночь в твоём окне?

Мне б керосинового света
зеленый конус, белый круг —
в канун столетия и лета,
где сад глубокий и берег крут.

Меня б студента-златоуста
пленил мундир, пугал апломб.
«Так говори, как Заратустра!» —
он написал бы в мой альбом.

Но всё это пустая грёза.
Фонарик есть, да нет в нём сил.
Ночь и электрик правы розно:
в ночь у него родился сын.

Спасибо вечному обмену:
и ночи цвет не поврежден,
и посрамленному Амперу
соперник новый рожден.

После полуночи темнеет —
не вовсе, не дотла, едва.
Все спать улягутся, но мне ведь
привычней складывать слова.

Я авторучек в автолавке
больной букет приобрела:
темны их тайные таланты,
но масть пластмассы так бела.

Вот пальцы зоркие поймали
бег анемичного пера.
А дальше просто: лист бумаги
чуть ярче общего пятна.

Несупротивна ночи белой
неразличимая строка.
Но есть светильник неумелый —
сообщник моего окна.

Хранит меня во тьме короткой,
хранит во дне, хранит всегда
черемухи простонародной
высокородная звезда.

Вдруг кто-то сыщется и спросит:
зачем при ней всю ночь сижу?
Что я отвечу? Хрупкий отсвет,
как я должна, так обвожу.

Прости, за то прости, читатель,
что я не смыслов поставщик,
а вымыслов приобретатель
черемуховых и своих.

Электрик, загулявший на ночь,
сурово смотрит на зарю
и говорит: «Всё сочиняешь?» —
«Всё починаешь?» — говорю.

Всяк о своем печётся свете,
и возгорается, смеясь,
залатанной электросети
с вот этими стихами связь.

15—17 мая 1985

Сортавала

* * *

Лапландских летних льдов недалённая граница.
Хлад Ладоги глубок, и плавлен ход лады.
Ладони ландыш дан и в ладанке хранится.
И ладен строй души, отверстой для любви.

Есть разве где-то юг с его латунным пеклом?
Брезгливо серебро к затратам золотым.
Ночь-римлянка влачит свой белоснежный пеплум.
(Латуни не нашлось, так сыщется латынь.)

Приладились слова к приладожскому ладу.
(Вкруг лада — всё мое, Брокгауз и Ефрон.)
Ум — гения черта, но он вредит таланту:
стих, сочиненный им, всегда чуть-чуть соврет.

В околицах ума, в рассеянных чернотах,
ютится бедный дар и пробует сказать,
что он не позабыл ладыжинских черемух
в пред-ладожской стране, в над-ладожских скалах.

Лещинный мой овраг, разлатанный, ледащий,
мною обольщен и мною приважен к похвалам.
Валунный водолей, над Ладогой летящий,
благослови его, владыко Валаам.

Черемух розных двух пересеченьем тайным
мой помысел ночной добыт и растворен
в гордыне бледных сфер, куда не вхож ботаник, —
он, впрочем, не вступал в безумный разговор.

Фотограф знать не мог, что выступит на снимке
присутствие судьбы и дерева в окне.
Средь схемы световой — такая сила схимы
в зрачке, что сил других не остается мне.

Лицо и речь — души неодолимый подвиг.
В окладе хладных вод сияет день молодой.
Меж утомленных век смешались полночь, полдень,
лад, Ладога, ладонь и сладкий сон благой.

17–20 июня 1985

Сортавала

* * *

Всё шхеры, фиорды, ущельных существ
оттуда пригляд, куда вживе не ходят.
Скитания омутно-леший сюжет,
остуда и оторопь, хвоя и холод.

Зажжён и не гаснет светильник сырой.
То — Гамсуна пагуба и поволока.
С налёту и смолоду прянешь в силок —
не вырвешь души из его приворота.

Болотный огонь одолел, опалил.
Что — белая ночь? Это имя обманно.
Так назван условно маньяк-аноним,
чьим бредням моя приглянулась бумага.

Он рыщет и свищет, и виснут усы,
и девушке с кухни понятны едва ли
его бормотанья: — Столь грешные сны
страшны или сладостны фрёкен Эдварде?

О, фрёкен Эдварда, какая тоска —
над вечно кипящей геенной отвара
помешивать волны, клубить облака —
какая отвага, о фрёкен Эдварда!

И девушка с кухни страшится и ждет.
Он сгинул в чащобе — туда и дорога.
Но огненной порчей смущает и жжет
наитье прохладного глаза дурного.

Я знаю! Сама я гоняюсь в лесах
за лаем собаки, за гильзой пустою,
за смехом презренья в отравных устах,
за гибелью сердца, за странной мечтою.

И слышится в сырости мха и хвоща:
— Как скушно! Ничто не однажды, всё — дважды
иль многожды. Ждет не хлыста, а хлыща
звериная душенька фрёкен Эдварды.

Все фрёкен Эдварды во веки веков
бледны от белил захолустной гордыни.
Подале от них и от их муженьков!
Обнимемся, пёс, мы свободны отныне.

И — хлыст оставляет рубец на руке.
Пёс уши устави́л в мой шаг осторожный.
— Смотри,— говорю,— я хожу налегке:
лишь посох, да плащ, да сапог остроносый.

И мне, и тебе, белонощный собрат,
двоюродны люди и ровня — наяды.
Как мы — так никто не глядит на собак.
Мы встретились — и разминёмся навряд ли.

Так дивные дива в лесу завелись.
Народ собирался и медлил с облавой —
до разрешенья ответственных лиц
покончить хотя бы с бездомной собакой.

С утра начинает судачить табльдот
о призраках трёх, о кострах их наскальных.
И девушка с кухни кофейник прольет
и слепо и тупо взирает на скатерть.

Двоится мой след на росистом крыльце.
Гость-почерк плетет письма предо мною.
И в новой, чужой, за-озерной красе
лицо провинилось пред явью дневною.

Всё чушь, чешуя, серебристая чудь.
И девушке с кухни до страсти охота
и страшно — крысиного яства чуть-чуть
добавить в унылое зелье компота.

20—21 июня 1985

Сортавала

* * *

Так бел, что опаляет веки,
кратчайшей ночи долгий день,
и белоручкам белошвейки
прощают молодую лень.

Оборок, складок, кружев, рюшей
сегодня праздник выпускной
и расставанья срок горячий
моей черемухи со мной.

В ночи девичьей, хороводной
есть болевотворная тоска.
Ее, заботой хлороформной,
туманят действия цветка.

Воскликнет кто-то: знаем, знаем!
Приелся этот ритуал!
Но всех поэтов всех избранниц
кто не хулил, не ревновал?

Нет никого для восклицаний:
такую я сыскала глушь,
что слышно, как, гонимый цаплей,
в расщелину уходит уж.

Как плавно выступала пава,
пока была ее пора! —
опалом пагубным всплывала
и Анной Павловой плыла.

Еще ей рукоплещут ложи,
еще влюблен в нее бинокль —
есть время вымолвить: о Боже! —
нет черт в ее лице больном.

Осталась крайность славы: тризна.
Растенье свой триумф снесло,
как знаменитая артистка,—
скоропостижно и светло.

Есть у меня чулан фатальный.
Его окно темнит скала.
Там долго гроб стоял хрустальный,
и в нем черемуха спала.

Давно в округе обгорело,
быльём зеленым поросло
ее родительское древо
и всё недалее родство.

Уж примерялись банты бала.
Пылали щёки выпускниц.
Красавица не открывала
дремотно-приторных ресниц.

Пеклась о ней скалы дремучесть
всё каменистей, всё лесней.
Но я, любя ее и мучась,—
не королевич Елисей.

И главной ночью длинно-белой,
вблизи неуголимых глаз,
с печальной грацией несмелой
царевна смерти предалась.

С неизъяснимою тоскою,
словно былую жизнь мою,
я прах ее своей рукою
горы подножью отдаю.

— Еще одно настало лето,—
сказала девочка со сна.
Я ей заметила на это:
— Еще одна прошла весна.

Но жизнь свежа и беспощадна:
в черемухи прощальный день
глаз безутешный — мрачно, жадно
успел воззриться на сирень.

21—22 июня 1985
Сортавала

* * *

Лишь июнь Сортавальские воды согрел —
поселенья опальных черемух сгорели.
Предстояла сирень, и сильней и скорей,
чем сирень, расцвело обожанье к сирени.

Тьмам цветений назначил собор Валаам.
Был ли молод монах, чье деянье сохранно?
Тосковал ли, когда насаждал-поливал
очертания нерукотворного храма?

Или старец, готовый пред богом предстать,
содрогнулся, хоть глубь этих почв не червива?
Суммой сумрачной заросли явлена страсть.
Ослушанье послушника в ней очевидно.

Это — ересь июньских ночей на устах,
сон зрочка, загулявший по ладожским водам.
И не виден мне богобоязненный сад,
дали ветку сирени — и кажется: вот он.

У сиреневых сводов нашелся один
прихожанин, любое хождение отвергший.
Он глядит нелюдимо и сиднем сидит,
и крыльцу его — в невидаль след человеческий.

Он заранее запасся скалою в окне.
Есть сусек у него: ведовская каморка.
Там он держит скалу, там случилось и мне
заглядеться в ночное змеиное око.

Он хватает сирень и уносит во мрак
(и выносит черемухи остов и осыпь).
Не причастен сему светлоликий монах,
что терпеньем сирени отстаивал остров.

Наплывали разбой и разор по волнам.
Тем вольней принималась сирень разрастаться.
В облаченье лиловом вставал Валаам,
и смотрело растение в глаза святотатца.

Да, хватает, уносит и смотрит с тоской,
обожая сирень, вождедея сирени.
В чернокнижной его кладовой колдовской
борода его кажется старше, синее.

Приворотный отвар на болотном огне
закипает. Летают крылатые мыши.
Помутилась скала в запотевшем окне:
так дымится отравное варево мысли.

То ль юннат, то ли юный другой следопыт
был отправлен с проверкою в дом под скалою.
Было рано. Он чая ещё не допил.
Он ушел, не успев попрощаться с семьёю.

Он вернулся не скоро и вчуже смотрел,
говорил неохотно, держался сурово.
— Там такие дела, там такая сирень, —
проронил — и другого не вымолвил слова.

Относили затворнику новый журнал,
предлагали газету, какую угодно.
Никого не узнал. Ничего не желал.
Грубо ждал от смущенного гостя — ухода.

Лишь остался один — так и прыгнул в тайник,
где храним ненаглядный предмет обожанья.
Как цветет его радость! Как душу томит,
обещать не умея и лишь обольщая!

Неужели нагрянут, спугнут, оторвут
от судьбы одинокой, другим не завидной?
Как он любит течение ее и триумф
под скалою лесною, звериной, змеиной!

Экскурсантам, что свойственны этим местам,
начал было твердить предводитель экскурсий:
вот-де дом под скалой... Но и сам он устал,
и народу казалась история скушной.

Был забыт и прощён ее скромный герой:
отсвет острова сердце склоняет к смиренью.
От свершений мирских упасаем горой,
пусть сидит со своей монастырской сиренью.

22–23 июня 1985

Сортавала

* * *

То ль потому, что ландыш пожелтел
и стал невзрачной пользой аптечной,
то ль отвращенье возбуждал комар
к съедобной плоти — родственнице тел,
кормящихся добычей бесконечной,
как и пристало лакомым кормам...

То ль потому, что встретила змея,—
я бы считала встречу добрым знаком,
но так она не расплела колец,
так равнодушно видела меня,
как если б я была пред вещим зраком
пустым экраном с надписью: «конец»...

То ль потому, что смерклось на скалах
и паузой ответила кукушка
на нищенский и детский мой вопрос,—
схоласт-рассудок явственно сказал,
что мне мое не удалось искусство,—
и скушный холод в сердце произрос.

Нечаянно рука коснулась лба:
в чём грех его? в чём бедная ошибка?

Достало и таланта, и ума,
но слишком их таинственна судьба:
окраинней и глуше нет отшиба,
коль он не спас — то далее куда?

Вчера, в июня двадцать третий день,
был совершенен смысл моей печали,

как вид воды — внизу, вокруг, вдали.
Дано ль мне знать, *как* глаз змеи глядел?
Те, что на скалах, ландыши увяли,
но ландыши низин не отцвели.

23—24 июня 1985

Сортавала

* * *

Сверканье блёсен, жалобы уключин.
Лишь стол и я смеемся на мели.
Все ловят щук. Зато веленьем щучьим
сбываются хотения мои.

Лилового махрового растенья
хочу! — сгустился робкий аметист
до зауми чернильного оттенка,
чей мрачный слог мастит и знаменит.

Исчадь дальнеродственных династий,
породы упование и итог,—
пустив на буфы бархат кардинальский,
цветок вступает в скудный мой чертог.

Лишь те, чей путь — прыжок из грязи в князи,
пугаются кромешности камор.
А эта гостя — на подмостках казни
войдет в костер: в обыденный комфорт.

Каморки заковыристой отшелье —
ночных крамол и таинств закрома.
Не всем домам дано вовнутрь ущелье.
Нет, не во всех домах живет скала.

В моём — живет. Мох застилает окна.
И Север, преступая перевал,
Захаживает и туманит стёкла,
вот и сегодня вспомнил, побывал.

Красе цветка отечественна здравость
темнот застойных и прохладных влаг.
Он полюбил чужбины второзданность:
чащобу-дом, дом-волю, дом-овраг.

Явилась в нём нездешняя осанка,
и выдаст обращенья простота,
что эта, под вуалем, чужестранка —
к нам ненадолго и не нам чета.

Кровь звёзд и бездн под кожей серебрится,
и запах умоляюще не смел,
как слабый жест: ненадобно так близко!
Здесь — грань прозрачных и возбранных сфер.

Высокородный выкормыш каморки
приемлет лилий флорентийских весть,
обмолвки, недомолвки, оговорки
вобрав в лилейный и лиловый цвет.

Так, усмотреньем рыбы востроносой
в теснине каменистого жилья,
со мною делят сумрак осторожный
скала, цветок и ночь-ворожея.

Чтоб общежитья не смущать основы
и нам пред ним не возгордиться вдруг,
приходят блики, промельки, ознобы
и замыкают узко-стройный круг.

— Так и живете? — Так живу, представьте.
Насущнее всех остальных проблем —
оставленный для Ладоги в пространстве
и Ладогой заполненный пробел.

Соединив живой предмет и образ,
живет за дважды каменной стеной
двужильного уединенья доблесть,
обняв сирень, оборонясь скалой.

А этот вот, бредущий по дороге,
невзгодой оглушенный человек
как связан с домом на глухом отроге
судьбы, где камень вещ и островерх?

Всё связано, да объяснить не просто.
Скала — затем, чтоб тайну убересть.
Со временем всё это разберется.
Сейчас — о ночи и сирени речь.

24—25 июня 1985
Сортавала

* * *

Вошла в лиловом в логово и в лоно
ловушки — и благословил ловец
всё, что совсем, почти, едва лилово
иль около-лилово, наконец.

Отметина преследуемой масти,
вернись в бутон, в охрannую листву:
всё, что повинно в ней хотя б отчасти,
несет язычник в жертву божеству.

Ему лишь лучше, если цвет уклончив:
содеяв колоколенки разор,
он нехристом напал на колокольчик,
он распалил и не насытил взор.

Анютиных дикорастущих глазок
здесь вдосталь, и, в отсутствии Анют,
их дикие глаза на скалолазов
глядят, покуда с толку не собыют.

Маньяк бросает выросший для взгляда
цветок к ногам лиловой госпожи.
Ей всё равно. Ей ничего не надо,
но выговорить лень, чтоб прочь пошли.

Лишь кисть для акварельных окроплений
и выдох жабр, нырнувших в акваспорт,
нам разъясняют имя аквилегий
и попросту выходит: водосбор.

В аквариум окраины садовой
растенье окунает плавники.
Завидев блеск серебряно-съедобный,
охотник чайкой прынул в цветники.

Он страшен стал! Он всё влачит в лачугу
к владычице, к обидчице своей.
На Ладogi вечернюю кольчугу
он смотрит все угрюмей и сильней.

Его терзает сизое сверканье
той части спектра, где сидит фазан.
Вдруг покусится на перо фазанье
запреты презиращий азарт?

Нам повезло: его глаза воззрились
на цветовой потуги абсолют —
на ирис, одинокий, как Озирис
в оазисе, где лютик робко-лют.

Не от сего он мира — и погибнет.
Ущербно-львиный по сравненью с ним,
в жилище, баснословном, как Египет,
сфинкс захолустья бредит и не спит.

И даже этот волокита-рыцарь,
чьи притязанья отемнили дом,—
бледнеет раб и прихвостень царицын,
лиловой кровью замарав ладонь.

Вот — идеал. Что идол, что идея!
Он — грань, пред-хаос, крайность красоты,
устойчивость и грация изделия
на волосок от роковой черты.

Покинем ирис до его скончанья —
тем боле что лиловости вампир,
владея ею и по ней скучая,
припас чернил давно до дна допил.

Страдание сознания больного —
сирень, сиречь: наитье и напасть.
И мглистая цветочная берлога —
душно-лилова, как медвежья пасть.

Над ней — дымок, словно она — Везувий
и думает: не скушно ль? Не пора ль?
А я? Умно ль — Офелией безумной
цветы собирать и песню напевать?

Плутаю я в пространном фиолете.
Свод розовый стал меркнуть и синеть.
Пришел художник, заиграл на флейте.
Звана сирень — ослышалась свирель.

Уж примелькалась слуху их обнимка,
но дудочка преследует цветок.
Вот и сейчас — печально, безобидно
всплыл в сумерках их общий завиток.

Как населили этот вечер летний
оттенков неземные мотыльки!
Но для чего вошел художник с флейтой
в проём вот этой прерванной строки?

То ль звук меня расстроил неискомый,
то ль хрупкий неприкаянный артист
какой-то незапамятно-иконный,
прозрачный свет держал между ресниц,—

но стало грустно мне, так стало грустно,
словно в груди всплакнула смерть птенца.
Сравненью ужаснувшись, трясогузка
улепетнула с моего крыльца.

Что делаю? Чего ищу в сирени —
уж не пяти, конечно, лепестков?
Вся жизнь моя — чем старе, тем страннее.
Коль есть в ней смысл, пора бы знать: каков?

Я слышу — ошибаюсь неужели? —
я слышу в еженощной тишине
неотвратимой воли наущенье —
лишь послушанье остается мне.

Лишь в полночь весть любовного ответа
явилась изумленному уму:
отверстая заря была со-цветна
цветному измышленью моему.

25–27 июня 1985 .

Сортавала

* * *

Пора, прощай моя скала,
и милый дом, и в нём каморка,
где всё моя сирень спала,—
как сновиденно в ней, как мокро!

В опочивальне божества,
для козней цвета и уловок,
подрагивают существа
растений многожды лиловых.

В свой срок ступает за порог
акцент оттенков околичных:
то маргариток говорок,
то орхидеи архаичность.

Фиалки, водосбор, люпин,
качанье перьев, бархат мантий.
Но ирис боле всех любим:
он — средоточье черных магий.

Ему и близко равных нет.
Мучителен и хрупок облик,
как вывернутость тайных недр
в кунсткамерных прозрачных колбах.

Горы подножье и подвал —
словно провал ума больного.
Как бедный Врубель тосковал!
Как всё безвыходно лилово!

Но зачарован мой чулан.
Всего, что вне, душа чуралась,
пока садовник учинял
сад: чудо-лунность и чуланность.

И главное: скалы визит
сквозь стену и окно глухое.
Вошла — и тяжело висит,
как гобелен из мха и хвои.

А в комнате, где правит стол,
есть печь — серебряная львица.
И соловьиный произвол
в округе белонощной длится.

О чём уста ночных молитв
так воздыхают и пекутся?
Сперва пульсирует мотив
как бы в предсердии искусства.

Всё горячее перебой
артерии сакраментальной,
но бесполезен перевод
и суесловен комментарий.

Сомкнулись волны, валуны,
канун разлуки подневольной,
ночь белая и часть луны
над Ладогою хладноводной.

Ночь, соловей, луна, цветы —
круг стародавних упований.
Преуспеянью новизны
моих не нужно воспеваний.

Она б не тронула меня!
Я — ей вреда не причиняла
во глубине ночного дня,
в челне чернильного чулана.

Не признавайся, соловей,
не растолковывай, мой дальний,
в чём смысл страдальческой твоей
нескладицы исповедальной.

Пусть всяко понимает всяк
слогов и пауз двуединость,
утайки маленькой пустяк —
заветной тайны нелюдность.

28 июня 1985

Сортавала

* * *

Сирень, сирень — не кончилась бы худом
моя сирень. Боюсь, что не к добру
в лесу нашла я разоренный хутор
и у него последнее беру.

Какое место уготовил дому
разумный финн! Блеск озера слезил
зрачок, когда спускалась за водою
красавица, а он за ней следил.

Как он любил жены златоволосой
податливый и плодоносный стан!
Она, в невестах, корень приворотный
заваривала — он о том не знал.

Уже сынок играл то в дровосека,
то в плотника, и здраво взгляд синел,—
всё мать с отцом шептались до рассвета,
и всё цвела и сыпалась сирень.

В пять лепестков она им колдовала
жить-поживать и наживать добра.
Сама собой слагалась Калевала
во мраке хвой вокруг светлого двора.

Не упасет неустрашимый Калев
добротной, животворной простоты.
Всё в бездну огнедышащую канет.
Пройдет полвека. Устоят цветы.

Душа сирени скорбная витает —
по недосмотру бывших здесь гостей.
Кто предпочел строению — фундамент,
румяной плоти — хрупкий хруст костей?

Нашла я доску, на которой режут
хозяйки снедь на ужинной заре,—
и заболел какой-то серый скрежет
в сплетенье солнц, в дыхательном ребре.

Зачем мой ход в чужой цветник вломился?
Ужель чтоб на кладбище пировать
и языка чужого здравомыслье
возлюбленную речью попить?

Нет, не затем сирени я добытчик,
что я сирень без памяти люблю
и многотолпен стал ее девичник
в сырой пристройке, в северном углу.

Всё я смотрю в сиреневые очи,
в серебряные воды тишины.
Кто помышлял: пожалуй, белой ночи
достаточно — и дал лишь пол-луны?

Пред-северно, продольно, сыровато.
Залив стоит отвесным серебром.
Дождит, и отзовется Сортавала,
коли ее окликнешь: Сердоболь.

Есть у меня будильник, полномочный
не относиться к бдению иль сну.
Коль зазвенит — автобус белонощный
я стану ждать в двенадцатом часу.

Он появляться стал в канун сирени.
Он начал до потопа, до войны
свой бег. Давно сносились, устарели
его крыла, и лица в нём бледны.

Когда будильник полночи добьется
по усмотренью только своему,
автобус белонощный пронесется —
назад, через потоп, через войну.

В обратность дней, вспять времени и смысла,
гремит его брезентовый шатёр.
Погони опасаясь или сыска,
тревожно озирается шофер.

Вдоль берега скалистого, лесного
летит автобус — смутен, никакков.
Одна я слышу жуткий смех клаксона,
хочу взглядеться в лица седоков.

Но вижу лишь бескровный и зловещий
туман обличий и не вижу лиц.
Всё это как-то связано с зацветшей
сиренью возле старых пепелищ.

Ужель спешат к владениям отцовским,
к пригожим женам, к милым сыновьям.
Конец июня: обоняньем острым
о сенокосе грезит сеновал.

Там — дом смолист, нарядна черепица.
Красавица ведро воды несла —
так донесла ли? О скалу разбиться
автобусу бы надо, да нельзя.

Должна ль я снова ждать их на дороге
на Питкяранту? (Славный городок,
но как-то грустно, и озябли ноги,
я ныне странный и плохой ходок.)

Успею ль сунуть им букет заветный
и прокричать: — Возьми, несчастный друг!—
в обмен на скользь и склизь прикосновений
их призрачных и благодарных рук.

Легко ль так ночи проводить, а утром,
чей загода в ночи содеян свет,
опять брести на одинокий хутор
и уносить сирени ветвь и весть.

Мой с диким механизмом поединок
надолго ли? Хочу чернил, пера
или заснуть. Но вновь блажит будильник.
Беру сирень. Хоть страшно — но пора.

28—29 июня 1985

Сортавала

НЕДУГ

Какое-то время назад мне довелось быть в больнице в Питере, на Васильевском острове. Я читала Пушкина и Гоголя. Но вот ещё что я читала (тогда впервые и в старом издании, со старой орфографией) — Антония Погорельского (это псевдоним Алексея Перовского). Пушкин писал брату из Михайловского, что он сразу узнал автора повести «Лафертовская маковница», где действует мистический Кот. Прямо перед окном палаты был дом, который казался мне таинственным. В нём то зажигался, то гас огонь свечи и мерцали глаза кошек. Я выходила в больничный двор. Возвращаясь в палату, читала Погорельского, а вблизи стоящий дом с чердаком опять был освещён мерцанием свечи и глазами кошек. Всё это происходило на Васильевском острове (так писали в то время), но это был о с т р о в, и я нечаянно думала о Гоге-не, и никто не возбранял мне этого мечтания.

4 мая 1995

Посвящается Антонию Погорельскому

Кхе-кхе... кхе-кхе... а завтра Рождество.
На площадях, курчавясь и пылая,
Рождественское древо проросло.

По европейским мостовым гуляя,
друзья мои, вспомните Руссо:
уединеньем душу утоляя,
живу. Но алчно ропщет естество:
де, где дары Святого Николая?

Не встать — в канун Рождественского дня.
Напасть и страсть берутся ниоткуда.
Ни месяца, ни прочего огня
нет в небесах. Опять кузнец Вакула
взнуздал, какого — не скажу, коня.
Во дни печали и в часы разгула,
друзья мои, вспомните меня!
Вставай, трудись, бездельница-простуда!

Кхе-кхе... кхе-кхе... идет на ум декохт,
поверх капота — накрест шаль да кофта.
Не душегреен этот хлам! Доколь,
прах вас возьми, мне ожидать декохта!
Вздор ваш декохт! Подать настой, да тот,
до чьих достоинств барина охота
и в снах мне утешенья не дает.
Слёз у вдовы поболе, чем дохода.

Иль лучше так: кхе-кхе — и над платком
на миг один потуплены ресницы.
Хочу на бал — плясать со всем полком,
как толстые уездные девицы.
Не я плоха — ваш врач в уме плохом,
суёт флакон и всё бубнит о Ницше.
И кто-нибудь (вдруг я) — Бог весть о ком
вдохнет, завидев русский крест близ Ниццы.

Вообще, я примечаю, что недуг,
смирив мой дух, сам пребывает в духе.
Ходили гости — более нейдут:
уронит руки, как умела Дузе,
и спросит: — Друг мой, Вы — магистр наук,
что скажете о блохах и о душе?
Недуг надует всех, его найдут
и мне вернут — его земной обузе.

Недавно заглянул через балкон
книг сочинитель. Все страшились брани.
Из-под бобра так и блестит белком

и бровью водит: есть на свете баре.
Какая ласка в голосе больном,
изъявленном поблекшими губами:
— Хвалю Ваш труд. В России век благой.
Вы поняли значение финской бани.

Вот — как султан, вкушает солутан,
тюрбаном нарядив температуру.
Хворь-прихвостень, как вертихвостка-тварь:
— кхе-кхе! — вдогон дурному каламбуру.
— Съезжай-ка в Тверь или в другую старь,
читай Минею и смирай натуру.
Опять дерзит: — Найду ли соли там?
И праведно ль подвергнуть Тверь недугу?

Но что «кхе-кхе», коль есть пенициллин?
Приходит доктор, многодумный отрок.
Он хворь мою берется исцелить,
кусая плоть касаньем жалец острых,

но надобно меня переселить
на остров. Нет ли жалоб и вопросов?
О нет! Словно в изгнание — властелин,
вспять волн и славы, я плыву на остров.

Взирайте, мореплавания отцы,
надвинув шляпы и плащи накинув,
завидуйте, молодые храбрецы,
чьё прилежанье пестует Нахимов
и будит мысль про чуждых стран красы
отель напротив, полный пилигримов.
Прощаюсь! Слезы леденят усы.
Склонились к муфтам дамы в пелеринах.

Не осерчай, суровый Крузенштерн.
Люблю твой лик, когда позёмка вьется.
Не спрашивай, куда плывет, зачем
гадательное затверденье воска.
Лишь бы спроста ревнитель шхун и шхер
на след мой слабый не науськал вёсла.

Я добралась и озираю в щель
мой остров, что Васильевским зовется.

Шутила я — но боле не шучу.
Васильевского острова всех линий
понятна схема детскому шажку,
и шагу мужа в лад со шпагой длинной,
и ножке, коей я хвалу шепчу,
невидимой, но несомненно дивной.
О чём грущу? Что рассказать хочу
Рождественскою ночью нелюдимой?

Начну: я этих стен абориген,
пристрастный к лампе, тумбочке и стулу.
С брезгливой скукой сосчитал рентген
костей незанимательную сумму.
Пока я суп, на стуле сидя, ем,
из близи гавань окликает сушу:
— Островитянин должен быть — Гоген!
Всех прочих — гнать! Не наливать им супу!

К окну вплотную подведён чердак.
Он хладен, как потухшая геенна.
В нём кошки — то ли в сумрачных чадрах,
то ль впрямь черны, как нагота Гарлема.
Чердак не прост и волшебством чреват:
в пустом окне вчера свеча горела.
Из гавани подуло в ум: — Чем так
есть суп, не лучше ль думать про Гогена?

Навряд ли б этот остров уберёт
скитальца от остуды и осады.
Зачем ему триумф чужих ворот
и все эти фасады и ансамбли?
Здесь слишком грузен верховодный рок! —
как вдруг из очарованной мансарды
явились таитянки грудь и рот
и туши манго млели и мерцали.

В окне — чердак. Но и само окно —
вечернего мороза измышление.
— Предмет иль факт, по мнению Кокто,
для остроумца — крапина мишени, —
сказал вошедший, догадайтесь — кто.

Меня ль желал он повидать, мышей ли, —
вторжение гостя сердце увлекло,
и сказка — чем ночнее, тем смешнее.

— Не всем дано сидеть в кафе «Куполь»
под Рождество, — промолвил Кот печально.
— Не всем дано сидеть в окне с Котом
под Рождество, — Коту я отвечала.
— От лишних слов меня уволь. — Изволь.
(Уж мы на ты!) Он смолк — и я молчала.
— Халат с мочалом не войдут в «Куполь»,
где был Гоген! — Донёсса смех причала.

— Причал помешан, мало что коряв, —
Кот расплетал таинственные нити. —
Один корабль, дырявый, как карман,
соврал ему, что плавал на Таити,
и розовый показывал коралл —
небось, украл. Всем велено: таите
причала страсть к полуденным краям.
Причал вскричал: — Рты лживые заткните!

Кот спросил: — Когда врачи взойдут?
Обходы их излишни и опасны.
В моих покоях я храню сундук.
Что атласы? Глядят во тьму алмазы,
из чьих сверканий огонь любви воздут, —
какие ими венчаны альянсы!
Камзолы, звёзды, парики — всё тут.
Но всё это не подлежит огласке.

— Мой Кот, стремглав влюбилась я в чердак.
Пусть при чертях служил твой предок всякий, —
я всей душой люблю тебя и так,
за профиль горбоносый и усатый.
Ты добр и мудр, ты много книг читал,
так одари еще одной усладой:
пусть род котов хранит в своих чертах
твой цвет: зелено-серый, полосатый.

— А хорошо ль мочалкою дразнить?
— Что за беда! Зови его «причалкой».
Ты сам сказал: ему наглец дерзил.
Недвижному, легко ль следить за чайкой
под лязг дрезин? — Каких еще дрезин? —
Ну, дизелей, иль дряг портовой чайной.
Он, впрочем, счастлив. Остается с ним
Гоген: никем не знаемый, печальный.

Мой сердцегрейный, сердцедный Кот!
Что твой сундук без двух твоих смарагдов?
Ты помнишь ли, как Пушкин анекдот
рассказывал и слушал Космократов?
Кот возопил: — Читатель рифмы ждет!
На, вот! — Нишкни. Строений косоватых
внутри не часто брезжил огонёк.
Вор думал: припозднился мой соратник.

Рассказ и устрашал, и улаждал,
а Космократов (он без псевдонима —
Титов), придя домой, спросив шандал,
всё записал прилежно и наивно,
и Дельвиг повесть вскорости издал.

— Зачем меня сюда ты посадила? —
воскликнул Кот. — Я всё это читал,
и вот чердак, где было это диво.

— Но Пушкин сказывал, что этот дом сгорел.
— Сначала он в его воображенье
построен был, темно смотрел, старел,
а надоел — что лучше, чем сожженье?
Поэтому же столько там смертей.
Всеобщим крахом кончи изложение!

На острове Васильевском метель,
а сказка — чем ночнее, тем скушнее.

Или пойдем шалить в моём дому.
Поныне там сохранны тени эти.
Проведаешь и деву, и вдову,
и франта-чёрта, принятого в свете,
и шулеров с рогами и в дыму,
графини прянешь в ведьминские сети,
как бы в гамак, чтоб подремать в аду.
Причал заметил: — Нечестивцы все вы.

Жуковского луна взошла в зенит.
Снег сыплется. Приветный и волшебный
горит огонь в окне Карамзиных.
Как возбуждён озябший гость вошедший:
брегет, подвески, воздух — всё звенит.
Стеснён оковой жемчуга ошейной
пульс в гордом горле. Гостя веселит
извив ума — ущельный и отшельный.

— На острове Васильевском был дом, —
он говорит, — убогий, диковатый.
Вы знаете, что за девиц и вдов
есть хлопотун, учтивый и коварный... —
Уже он любит этот вздор, но вздох
испуга гасит свечи вдоль диванной.
Кто сам желает разобраться в сём,
пусть том возьмет из десяти девятый.

Кот, я сама не знаю, почему
меня в угодыя прошлого так тянет.
Уж ни в каком неймётся мне дому,
и тяжело знать, что худшая из тягот —
стараться жить по чести и уму.
Вот острова Васильевского тайнам
доверюсь я и вовсе в них уйду.
Причал воскликнул: — Слава таитянам.

— Честь, честь и честь — и боле ничего, —
ответил Кот. — Не продаваться ж в черти!
— Шесть, шесть и шесть — антихриста число, —
но эта мысль для устрашенья черни.
— Шерсть, шерсть и шерсть — взгляни в мое стекло:
три шерсти там, и пусто в каждом чреве.
— Есть, есть и есть, уж скоро Рождество
взойдёт звездою в небе и на древе.

Вкруг дуба ходят по цепи коты
учёные, а прочие — промокли.
— Кот, ты влюблен? — Ее зовут Коти.
Но более — ни слова, ни обмолвки.
— А те, в густых чадрах, смуглее тьмы?

— Их роль скромна: кухарки, судомойки.
Ты мне стишок какой-нибудь прочти.
Где книг возьмёшь? Лишь слухи да намёки.

Здесь — краткой оговорки пустяки.
Читатель, я на встречу не надеюсь,
но к этой притче приложу стихи,
Кот будет их издатель и владелец.
Из лап его не вырвет ни строки
никто, я твёрдо на Кота надеюсь.
Но не взыщу, коль всё порвет в клочки
Кота младенец или многодетность.

*Декабрь 1985
Ленинград,
больница им. Ленина*

* * *

— Что это, что? — Спи, это жар во лбу.

— Чьему же лбу такое пламя впору?

Кто сей со лбом и мыслью лба: веду
льва в поводу и поднимаюсь в гору?

— Не дать ли льда изнеможенью лба?

— Того ли лба, чья знала дальновидность,
где валуны воздвигнуть в память льда:
де, чти, простак, праматерь-ледовитость?

— Испей воды и не дотла сгори.

Всё хорошо. Вот склянки, вот облатки.

— Со лбом и львом уже вверху горы:
клубится грива и сверкают латы.

— Спи, это бред, испекший ум в огне.

— Тот, кто со львом, и лев идут к порогу.
Коль это мой разыгран бред вовне,
пусть гением зовут мою хворобу.

И тот, кого так сильно... тот, кому
прискучил блеск быстротекучей ртути,
подвёл меня к замёрзшему окну,
и много счастья было в той минуте.

С горы небес шел латник золотой.
Среди ветвей, оранжевая, длилась
его стезя — неслышимой пятой
след голубой в ней пролагала львиность.

Вождь льва и лев вблизи подошли ко мне.
Мороз и солнце — вот в чём было дело.
Так день настал — девятый в декабре.
А я болела и в окно глядела.

Затмили окна, затворили дом
(день так сиял!), задвинули ворота.
Так страшно сердце расставалось с Днём,
как с тою — тот, где яд, клинок, Верона.

Уж много раз менялись свет и темь.
В пустыне мглы, в тоске неодолимой,
сиротствует и полыхает День,
мой не воспетый, мой любимый — львиный.

19—20 декабря 1985
Ленинград

ЁЛКА В БОЛЬНИЧНОМ КОРИДОРЕ

В коридоре больничном поставили ёлку. Она
и сама смущена, что попала в обитель страданий.
В край окна моего ленинградская входит луна
и недолго стоит: много окон и много стояний.

К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
переходит луна, и доносится шорох стараний
утаить от соседок, от злого непрочного сна
нарушение порядка, оплошность запретных рыданий.

Всем больным стало хуже. Но всё же — канун Рождества.
Завтра кто-то дождётся известий, гостинцев, свиданий.
Жизнь со смертью — в соседях. Каталка всегда не пуста —
лифт в ночи отскрипит равномерность её упаданий.

Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла.
Оснований других не оставлено для упований,
но они так важны, так огромны, так несть им числа,
что прощен и утешен безвестный затворник подвальный.

Даже здесь, в коридоре, где ёлка — причина для слёз
(не хотели ее, да сестра заносить повелела),
сердце бьется и слушает, и — раздалось, донеслось:
— Эй, очнитесь! Взгляните — восходит Звезда Вифлеема.

Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву,
поспешанье волхвов и неопытной матери локоть,
упасавший Младенца с отметиной чудной во лбу.
Остальное — лишь вздор, затянувшейся лжи мимолётность.

Этой плоти больной, извращенной трудом и войной,
что нужней и отрадней столь просто описанной сцены?
Но — корят то вином, то другою какою виной
и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.

Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
капель был и блестел, как бессмысленный черный
фонарик, —
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на ёлке названивал крошка-звонарик.

Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.
Цвет — был меньше, чем розовый: родом из робких,
не резких.

Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.

А как стали вставать, с неохотой глаза открывать, —
вдоль метели пронёсся трамвай, изнутри золотистый.
Все столпились у окон, как дети: — Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый,
огнистый.

Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
или невидали мне достанет для слёз и любви.
— Вам не надо ль чего-нибудь? — Нет, ничего нам не надо.

Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.
Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
В День Рожденья Его дай молиться и плакать о каждом!

25 декабря 1985

Ленинград

* * *

Поздней весны польза-обнова.
Быстровелик оползень поля:
коли и есть посох-опора,
брод не возбредится к нам.
«Бысть человек послан от Бога,
имя ему Иоанн».

Росталь: растущей воды окиянье.
Полночь, но опалены
рытвины вежд и окраин канавье
досталью полулуны.
Несть нам отверзий принесть покаянье
и не прозреть пелены.
Ходу не имем, прийди, Иоанне,
к нам на берега полыньи.
Имя твое в прародстве с именами
тех, чьи кресты полегли
в снег, осененный тюрьмой и дымами, —
оборони, полюби
лютость окрути, поруганной нами,
иже рекутся людьми.

«Бысть человек послан от Бога,
имя ему Иоанн».
О, не ходи! Нынче суббота,
праздник у нас: посвист разбоя,
обморок-март, путь без разбора,
топь, поволока, туман.

Март 1986

Иваново

ИВАНОВСКИЕ ПРИПЕВКИ

Созвали семинар — проникнуть в злобу дня,
а тут и без него говеют не во благе.
Заезжего ума пустует западня:
не дался день-злодей ловушке и облаве.

Двунадесять язык в Иванове сошлись
и с ними мой и свой, тринадцатый, злосчастный.
Весь в Уводь не изыдь, со злобой не созлись,
Ивановичей род, в хмельную ночь зачатый.

А ежели кто трезв — отымет и отъест
судьбы деликатес, весь диалект — про импорт.
Питают мать-отец плаксивый диатез
тех, кто, возмыв из детства, убьет, но и повымрет.

Забавится дитя: пешком под стол пойдя,
уже удавку вьет для Жучки и для Васьки.
Ко мне: «Почто зверям суюшь еды-питья?» —
«Аз есмь родня зверья, а вы мне — не свояси».

Перечу языку — порочному сынку
порушенных пород и пагубного чтива.
Потылицу чешу, возглавицей реку
то, что под ней держу в ночи для опочива.

Захаживал Иван, внимал моим словам,
Поддакивал, кивал: «Душа твоя — Таврида.
Что делаешь-творишь?» — «Творю тебе стакан». —
«Старинно говоришь. Скажи: что есть творило?» —

«Тебя за речь твою прииму ко двору.
Стучись — я отворю. Отверстый ход — творило». —
«В заочье для чего слывешь за татарву?» —
«Заочье не болит, когда тавром тавримо».

Ой, город-городок, ой, говор-говорок:
прядильный монотон и матерок предельный —
в ооканье вовлѣк и округлил роток,
опутал, обволок, в мое ушко продетый.

У нас труба копит превыспреннюю синь
и ненависть когтит промеж родни простенок.
Мы знаем: стыдно пить, и даже в сырѣ и стынѣ
мы сикера не пьем, обходимся проствейном.

Окликнул семинар: «Куда идешь, Иван?» —
«На Кубу, семинар, всё наше устремленье».
Дивится семинар столь дальним именам.
(На Кубу — в магазин, за грань, за вод струенье.)

Раздолье для невест — без петуха насест,
а робятишки есть при маме и во маме.
Ест поедом тоска, потом молва доест.
Чтоб не скучать — девчат черпнули во Вьетнаме.

Четыреста живых и чужеродных чад
усилили вдовства и детства многолюдность.
Улыбки их дрожат, потёмки душ — молчат.
Субтропиков здесь нет, зато сугуба лютость.

Смуглы, а не рябы, робки, а не грубы,
за малые рубли великими глазами
их страх глядит на нас — так, говорят, грибы
глядят, когда едят их едоки в Рязани.

Направил семинар свой променад в сельмаг,
проверил провиант — не сныть и не мякину.
Бахвалился Иван: «Не пуст сусек-сервант.
Полпяди есть во лбу — читай телемахину».

За словом не полез — зачем и лезть в карман?
«Рацеей, — объяснял, — упитана Расея.
Мы к лишним вообще бесчувственны кормам.
Нам коло-градский жук оставил часть растенья».

Залётный семинар пасёт нас от беды:
де, буйствует вино, как паводок апрельский.
Иван сказал: «Вино отлично от воды,
но смысл сего не здесь, а в Кане Галилейской».

От Иоанна — нам есть наущенье уст,
и слышимо во мглах: «Восстав, сойдем отсюда».
Путина — нет пути. То плачу, то смеюсь,
то ростепель терплю, то новую остуду.

«Эй, ты куда, Иван?» — «На Кубу, брат-мадам.
А ты?» — «Да по следам твоим, чрез половодье». —
«Держися за меня! Пройдемся по водам!»
И то: пора всплакнуть по певчем по Володе.

Ивану говорю по поводу вина:
«Нам отворенный ход — творило, хоть травило». —
Ответствует: «Хвалю! Ой, девка, ой, умна!
А я-то помышлял про кофе растворимо...»

Март 1986

Иваново

* * *

Хожу по околицам дюжей весны,
вкруг полой воды, и сопутствие чье-то
глаголаше: «Колицем должен еси?» —
сочти, как умеешь, я сбилась со счёта.

Хотелось мне моря, Батума, дождя,
кофейни и фески Омара-соседа.
Бубнило уже: «Ты должна, ты должна!» —
и двинулась я не овамо, а семо.

Прибой возыметь за спиной, на восток,
вершины ожегший, воззриться — могла ведь.
Всевластье трубы помавает хвостом,
предместье-прихвостье корпит, помогает.

Закат — и скорбит и робеет душа
пред пурпуром смрадным, прекрасно-зловещим.
Над гранью земли — ты должна, ты должна! —
на злате небес — филигрань-человечек.

Его пожирает отверстый вулкан,
его не спасет тихомолка оврага,
идет он — и поздно его окликать —
вдоль пламени, в челюсти антропофага.

Сближаются алое и фиолет.
Как стебель в середине захлопнутой книги,
меж ними*расплющен его силуэт —
лишь вмятина видима в стынущем нимбе.

Добыча побоища и дележа —
невзрачная крапина крови и воли.
Как скушно жужжит: «Ты должна, ты должна!» —
тому ли скитальцу? Но нет его боле.

Я в местной луне, поначалу, своей
луны не узнала, да сжалилась лунность
и свойски зависла меж черных ветвей —
так ей приглянулась столь смелая глупость.

Меж тем, я осталась одна, как она:
лишь нищие звери тянулись во други,
да звук допекал: «Ты должна, ты должна!» —
ужель оборучью хапути-округи?

Ее постояльцы забыли мотив,
родимая речь им далече латыни,
снуют, ненасытной мечтой охватив
кто — реки хмельные, кто — горы златые.

Не ласки и взоры, а лязг и возня.
Пришла для подачи — осталась при плаче.
Их скаредный скрытень скрадет и меня.
Незнаемый молвил: «Тем паче, тем паче».

Текут добры молодцы вотчины вспять.
Трущобы трещат — и пусты деревеньки.
Пошто бы им загодя джинсы не дать?
По сей промтовар все идут в делинквенты.

Восход малолетства задирчив и быстр:
тетрадки да прятки, а больше — рогатки.
До зверских убийств от звериных убийств
по прямопутку шагают ребятки.

Заради наживы решат на ножах:
не пусто ли брату остаться без брата?
Пребудут не живы — мне будет не жаль.
Истец улыбнулся: «Неправда, неправда».

Да ты их не видывал! Кто ты ни есть,
они в твою высь не взглянули ни разу.
И крестят детей, полагая, что крест —
условье улова и средство от сглазу.

До станции и до кладбища дошла,
чей вид и название содеяны сажей.
Опять донеслось: «Ты должна, ты должна!» —
я думала, что-нибудь новое скажет.

Забытость надгробья нежна и прочна.
О, лакомка, сразу доставшийся раю!
«Вкушая, вкусих мало мёду, — прочла,
уже не прочесть: и — се аз умираю».

Заведомый ангел, жилец не земной,
как прочие все оснащенный скелетом.
«Ночной — на дневной, а шестой — на седьмой!» —
вдруг рывкнул вблизи станционный селектор.

Я стала любить эти вскрики ничьи,
пророчества малых событий и ругань.
Утешно мне их соучастье в ночи,
когда сортируют иль так, озоруют.

Гигант-репетир ударяет впотьмах,
железо наслав на другое железо:
вагону, под горку, препона — «башмак» —
и сыплется снег с потрясенного леса.

Твердящий темно: «Ты должна, ты должна!» —
учись направлять, чтобы слышащий понял,
и некий ночной, грохоча и дрожа,
вспомнил свой долг и веленье исполнил.

Незрячая ощупь ума не точна:
лелея во мгле коридора-ущелья,
не дали дитяти дьячка для тычка,
для лестовицей ременной наущенья.

Откройся: кто ты? Ослабел и уснул
злосмурый, как мурин, посёлок немытый.
Суфлёр в занебесном укрытьи шепнул:
«Ты знаешь его, он — несправедный мытарь.

Призвал он когождо из должников,
и мало взыскал, и хвалим был от Бога».
Но, буде ты — тот, почему не таков
и не отпустишь от мзды и побора?

Окраина эта тошна и душна! —
Брезгливо изрёк сортировочный рупор:
«Зла суща — ступай, ибо ты не должна
ни нам, ни местам нашим гиблым и грубым.

Таков уж твой сорт». — И подавленный всхлип
превысил слова про пути и про рейсы.
Потом я узнала: там сцепщик погиб.
Сам голову положил он на рельсы.

Не он ли вчера, напоследок дыша,
вдоль неба спешил из огня да в полымя?
И слабый пунктир — ты должна, ты должна! —
насквозь пролегал между нами двоими.

Хожу к тете Тасе, сижу и гляжу
на розан бумажный в зеленом вазоне.
Всю ночь потолок над глазами держу,
понять не умею и каюсь во злобе.

Иду в Афанасово крепким ледком,
по талой воде возвращаюсь оттуда.
И по пути, усмехнувшись тайком,
куплю мандариновый джем из Батума.

Покинувший — снова пришёл: «Ты должна
заснуть, возомненья придут иные».
Заснежило, и снизошла тишина,
и молвлю во сне: отпускаеши ныне...

Март 1986

Иваново

ПРИГОРОД: НАЗВАНЬЯ УЛИЦ

Стихам о люксембургских розах
совсем не нужен Люксембург:
они порой цветут в отбросах
окраин, свалками обросших,
смущая сумрак и сумбур.

Шутил ботаник-переулок,
любитель роз и тишины:
две улицы и переулок
(он — к новостройке первопуток) —
растенью грёз посвящены.

Мы, для унятия страданий
коровьих, — не растим травы.
Народец мы дрянной и драный,
но любим свой родной дендрарий,
жаль — не сносить в нём головы.

Спасибо розе люксембургской
за чашу, полную усад:
к ней ходим за вином-закуской
(хоть и дают ее с нагрузкой),
цветём, как Люксембургский сад.

Не по прописке — для разбора,
чтоб в розных куцах не пропасть,
есть Роза-прима, Роза-втора,
а мелкий соименник вздора
зовется Розкин непролаз.

Лишь розу чтит посёлок-бука,
хоть идол сей не им взращён.
А вдруг скажу, что сивка-бурка
катал меня до Люксембурга? —
пускай пошлют за псих-врачом.

А было что-то в этом роде:
плющ стены замка обвивал,
шло готике небес предгрозые,
склоняясь к люксембургской розе,
ее садовник поливал.

Царица тридевятой флоры!
Зачем на скромный наш восток,
на хляби наши и заборы,
на злоначальные затворы
пал твой прозрачный лепесток?

Но должно вот чему дивиться,
прочла — и белый свет стал мил:
«ул. им. Давыдова Дениса».
— Поведай мне, душа-девица,
ул. им. — кого? ум — ил затмил.

— Вы что, неграмотная что ли? —
спросила девица-краса. —
Пойдите, подучитесь в школе. —
Открылись щёлки, створки, шторы,
и выглянули все глаза.

— Я мало видывала видов —
развейте умственную тьму:
вдруг есть среди ваших индивидов
другой Денис, другой Давыдов? —
Красавица сказала: — Тьфу!

Пред-магазинною горою
я шла, и грустно было мне.

Свет, радость, жизнь! Ночной порою
тебе певцу, тебе герою,
не страшно в этой стороне?

Март 1986

Иваново

* * *

Тому назад два года, но в июне:
«Как я люблю гряды моих камней», —
бубнивший ныне чужд, как новолюдь,
себе, гряде, своей строке о ней.
Чем ярче пахнет яблоко на блюде,
тем быстрый сон о Бунине темней.

Приснившемуся сразу же несносен,
проснувшийся свой простоватый сон
так опроверг: вид из окна на осень,
что до утра от зренья упасён,
на яблок всех невидимую осыпь —
как яблоко слепцу преподнесён.

Для краткости изваяна округа
так выпукло, как школьный шар земной.
Сиди себе! Как помысла прогулка
с тобой поступит — ей решать самой.
Уж знать не хочет — началась откуда?
Да — тот, кто снился, здесь бывал зимой.

Люблю его с художником свиданье.
Смеюсь и вижу и того, и с кем
не съединило пресных польз съеданье,

побег во снег из хладных стен и схем,
смех вызволения, к станции — сюда ли?
а где буфет? Как блещет белый свет!

Иль пайщик сна — табак, сохранный в грядке?
Ночует ум во дне сто лет назад,

уж он влюблен, но встретится навряд ли
с ним гимназистки безмятежный взгляд
Вперяется дозор его оглядки
в уездный город, в предвечерний сад.

Нюх и цветок сошлись не для того ли,
чтоб вдоха кругосветного в конце
очнулся дух Кураевых торговли
на площади Архангельской в Ельце
и так пахнуло рыбой, что в тревоге
я вышла в дождь и холод на крыльце.

Еще есть жизнь — избранных улада,
изденье их, не меньшее, чем явь.
Не дом в саду, а вымысел-усадебка
завещана, чтоб на крыльце стоять.
Как много тайн я от цветка узнала,
а он — всего лишь слово с буквой «ять».

Прочнее блеск воспетого мгновенья
чем то одно, чего нельзя воспеть.
Я там была, где зыбко и неверно
паломник робкий усложняет смерть:
о, есть! — но, как Святая Женевьева,
ведь не вполне же, не воочью есть?

Восьмого часа исподволь. Забыла
заря возжечься слева от лица.
С гряды камней в презрение залива
обрушился громоздкий всплеск пловца.
Пространство отчужденно и брезгливо
взирает, словно Бунин на лъстеца.

Сентябрь — октябрь 1987

Ретино

* * *

Постоялец вникает в реестр проявлений
благоклонной судьбы. Он польщен, что прощен.
Зыбкий перечень прихотей, прав, привилегий
исчисляющий — знает, что он ни при чём.
Вид: восстанье и бой лежебок-параллелей,
кривь на кось натравил геометра просчёт.
Пир элегий соседствует с паром варений.
Это — осень: течет, задувает, печет.
Всё сгодится! Пришедший не стал привередой.
Или стал? Он придирчиво список прочтет.

Вот — читает. Каких параллелей восстанье?
Это просто! Залив, возлежащий плашмя,
ныне вздыблен. Обратно небес нависанье
воздыманью воды, улетанью плаща.
Урожденного в не суверенной осанке,
супротивно стене своеволие плюща.
Золотится потатчица астры в стакане,
бурелома добытчица рубит с плеча.
Потеплело — и тел кровопьющих останки
мим расплющил, танцуя и рукоплеща.

Нет, не вздор! Комаров возродила натура,
Бледный лоб отвлекая от высших хлопот,
в освещенном окне сочинитель ноктюрна

грациозно свершает прыжок и хлопок
и, вернувшись к роялю, должно быть: «Недурно!» —
говорит, ибо эта обитель — оплот
одиноких избранников. Взялся откуда
здесь изгой и чужак, возымевший апломб
молвить слово... Молчи! В слух отверстый надуло
рознью музык в умах и разъятьем эпох
на пустых берегах. Содержанье недуга
не открыто пришельцу, но вид его плох.

Что он делает в гордых гармониях чужбине?
Тридевятая нота октавы, деталь,
ей не нужная, он принимает ушибы:
тронул клавишу кто-то, охочий до тайн.
Опыт зеркала, кресел ленивых ужимки —
о былых обитаньях нескромный доклад.
Гость бормочет: слагатели звуков, ушли вы,
но оставили ваш неусыпный диктант.
Звук-подкидыш мне мил. Мои струны учтивы.
Пусть вознянчится ими детёныш-дикарь.

Вдоль окраины моря он бродит, и резок
силуэт его черный, угрюм капюшон.
Звук-приёмыш возрос. Выживания средством
прочих сирых существ круг широкий прельщен.
Их сподвижник стеснён и, к тому же, истерзан
упомянутым ветролюбивым плащом,
да, но до — божеством боязливым. О, если б
не рояль за спиной и за правым плечом!
Сочинитель ноктюрна следит с интересом
за сюжетом, не вовсе сокрытым плющом.

Сентябрь — октябрь 1987

Ретино

* * *

Так запрокинут лоб, отозванный от яви,
что перпендикуляр, который им взращён,
опорой яви стал и, если бы отняли,
распался бы чертеж, содеянный зрачком.

Семь пядей изведя на построенье это,
пульсирует всю ночь текущий выпрь пунктир.
Скудельный лоб иссяк. Явился брезг рассвета.
В зените потолка сыт лакомка-упырь.

Обращен сам себе стал оборотень-сидень.
Лоб — озирающий бездн, луны анахорет —
пал ниц и возлежит. Ладонь — его носитель.
Под зауем его не устоял хребет.

А осень так светла! Избыток солнца в доме
на счастье так похож! Уж не оно ль? Едва ль.
Мой безутешный лоб лежит в моей ладони
(в долони, если длань, не правда ль, милый Даль?).

Бессонного ума бессрочна гауптвахта.
А тайна — чудный смех донесся, — что должна —
опять донесся смех, — должна быть глуповата,
летает налегке, беспечна и нежна.

Октябрь 1987

Ретино

ЛАРЕЦ И КЛЮЧ

Осипу Мандельштаму

Когда бы этот день — тому, о ком читаю:
де, ключ он подарил от... скажем, от ларца
открытого... свою так оберёт он тайну,
как если бы ловил и окликал ловца.

Я не о тайне тайн, столь явных обиталищ
нет у нее, вся — в нём, прозрачно заперта,
как суть в устройстве сот. — Не много ль ты
болтаешь? —
мне чтение говорит, которым занята.

Но я и так — молчок, занятие уст — вино лишь,
и терпок поцелуй имеретинских лоз.
Поправший Кутаис, в строку вступил Воронеж —
как пекло дум зовут, сокрыть не удалось.

Вернее — в дверь вошел общения искатель.
Тоскою уязвлен и грёзой оболыщен,
он попросту живет как житель и писатель
не в пекле ни в каком, а в центре областном.

Я сообщалась с ним в смущении двояком:
посол своей же тьмы иль вестник роковой
явился подтвердить, что свой чугунный якорь
удерживает Пётр чугунною рукой?

«Эй, с якорем!» — шутил опалы завсегдатай.
Не следует дерзить чугунным и стальным.
Что вспылчивый изгой был лишнею загадкой,
с усмешкой небольшой приметил властелин.

Строй горла ярко наг и выдан пульсом пеня
и высоко над ним — лба над-седьмая пядь.
Где хруст и лязг возьмут уменья и терпенья,
чтоб дланью не схватить и не защелкнуть пасть?

Сапог — всегда сосед священного сосуда
и вхож в глаза птенца, им не живать втроём.
Гость говорит: тех мест писателей союза
отличный малый стал теперь секретарем.

Однако — поздний час. Мы навсегда простились.
Ему не надо знать, чьей тени он сосед.
Признаться, столь глухих и сумрачных потылиц
не собиратель я для пиршеств иль бесед.

Когда бы этот день — тому, о ком страданье —
обыденный устой и содержание дней,
всё длилось бы ловца когтистого свиданье
с добычей меж ресниц, которых нет длинней.

Играла бы ладонь вещицей золотою
(лишь у совсем детей взор так же хитроват),
и был бы дну воды даруем ключ ладонью,
от тайнописи чьей отпрянет хиромант.

То, что ларцом зову (он обречён покраже),
и ульем быть могло для слёта розных крыл:
пчелит аэроплан, присутствуют плюмажи,
Италия плывет на сухопарый Крым.

А далее... Но нет! Кабы сбылось «когда бы»,
я наклоненья где двойной посул найду?
Не лучше ль сослагать купавы и канавы
и наклоненье ив с их образом в пруду?

И всё это — с моей последнею сиренью,
с осою, что и так принадлежит ему,
с тропой — вдоль соловья, через овраг — к селенью,
и с кем-то, по тропе идущим (я иду),

нам нужен штрих живой, усвоенный пейзажем,
чтоб поступиться им, оставить дня вовне.
Но всё, что обречем, куда мы денем? Скажем:
в ларец. А ключ? А ключ лежит воды на дне.

*Июнь 1988
в Малеевке*

ДВОРЕЦ

Мне во владенье дан дворец из алебастра
(столпов дебелых строй становится полней,
коль возвести в уме, для общего баланса,
виденье над-морских, над-земных пропилей).

Я вдвинулась в портал, и розных двух диговин
взаимный бред окреп и затвердел в уют.
Оврага храбрый мрак возлѣг на подоконник.
Вот-вот часы внизу двенадцать раз пробьют.

Ночь — вотчина моя, во дне я — чужестранец,
молчу, но не скромна в глазах утайка слѣз.
Сословье пошляков, для суесловья трапез
содвинувшее лбы, как Батюшков бы снёс?

К возлюбленным часам крадусь вдоль коридора.
Ключ к мертвой тайне их из чьей упал руки?
Едины бой часов и поступь Командора,
но спящих во дворце ему скучны грехи.

Есть меж часами связь и благородной группой
предметов наверху: три кресла, стол, диван.
В их времени былом какой гордец утрюмый
колена преклонял и руки воздевал?

Уж слышатся шаги тяжелые, и странно
смотреть — как хрупкий пол нарядно навощён.
Белей своих одежд вы стали, донна Анна.
И Батюшков один не знает, кто вошел.

Новёхонький витраж в старинной есть гостиной.
Моя игра с зарей вечерней такова:
лишь испечет стекло рубин неутасимый,
всегда его краду у алого ковра.

Хватаю — и бегу. Восходит слабый месяц.
Остался на ковре — и попран изумруд.
Но в комнате моей он был бы незаметен:
я в ней тайком от всех держу овраг и пруд.

Мне есть во что играть. Зачем я прочь не еду?
Всё длится меж колонн овражный мой постой.
Я сведуща в тоске. Но как назвать вот эту?
Не Батюшкова ли (ей равных нет) тоской?

Вспомнила стихи, что были им любимы.
Сколь кротко перед ним потупилось чело
счастливого певца Руслана и Людмилы,
но сумрачно взглянул — и не узнал его.

О чём бишь? Что со мной? Мой разум сбивчив, жарок,
а прежде здрав бывал, смешлив и незлобив.
К добру ль плутает он средь колоннад и арок,
эклектики больной возляпье возлюбив?

Кружится голова на глиняном откосе,
балясины прочны, да воли нет спастись.
Изменчивость друзей, измена друга, козни...
Осталось: «Это кто?» — о Пушкине спросить.

Все-пошлость такова, — ты лучше лоб потрогай, —
что из презренья к ней любой исход мне го́ж.
— Ты попросту больна. — Не боле, чем Петроний.
Он тоже во дворец был раболепно вхож.

И воздалось дворцу. — Тебе уж постелили. —
Возможно дважды жить, дабы один лишь раз
сказать: мне сладок яд, рабы и властелины.
С усмешкой на устах я покидаю вас.

Мои овраг и пруд, одно неоспоримо:
величью перемен и превращений вспять
лоб должен испарять истому аспирина,
осадок же как мысль себе на память взять.

Закат — пора идти за огненным трофеем.
Трагедии внутри давайте-ка шалить:
измыслим что-нибудь и ощупью проверим
явь образа — есть чем ладони опалить!

Три кресла, стол, диван за ловлею рубина
участливо следят. И слышится в темне:
вдруг вымыслом своим, и только, ты любима?
довольно ли с тебя? не страшно ли тебе?

Вот дерзок почему пригляд дворцовой стражи
и челядь не таит ухмылочку свою.
На бал чужой любви в наёмном экипаже
явилась, как горбун, и, как слепец, стою.

Вдобавок, как глупец, дня расточаю убыль.
Жив на столе моём ночей анахорет.
Чего еще желать? Уж он-то крепко любит
сторожкий силуэт: висок, зрачок, хребет.

Из комнаты моей, тенистой и ущельной,
не слышно, как часы оплакивают день.
Неужто — всё, мой друг? Но замкнут круг ущербный:
свет лампы, пруд, овраг. И Батюшкова тень.

*Июнь — июль 1988
в Малеевке*

ГРОЗА В МАЛЕЕВКЕ

Вспять времени идет идущий по аллее.
Коль в сумерках идет — тем ярче и верней
надежда, что пред ним предстанут пропилеи
и грубый чад огней в канун Панафинеи.

Он с лирою пришел и всем смешон: привыкла
к звучанию кифар людская толчея.
Над нею: — Вы — равны! — несется глас Перикла.
— Да, вы — равны, — ему отвечает чума.

Что там еще? Расцвет искусства. Ввоз цикуты
налажен. По волнам снуёт торговый флот.
Сурово край одежд сократовых целуйте,
пристало ль вам рыдать, Платон и Ксенофонт?

Эк занесло куда паломника! Пусть бродит
и уставляет взор на портик и фронтон,
из скопища колонн, чей безымянен ордер,
соорудив в уме аттический фантом.

Эй, эй, остерегись! Возбранностью окружая
себя не обводи, великих не гневи.
Рожденная на свет в убранстве всеоружья —
исчадь не твоей, а Зевсовой главы.

Помешан — и твердит: — Люблю ее рожденье
во шлеме, что тусклей сокрытых им волос.
Жизнь озера ушла на блеска отраженье.
Как озеро звалось? — Тритон — оно звалось.—

Гефест, топор! А мать, покуда неповинна,
проглочена... — Молчи! — Событья приведут
к тому — что вот она! Не знается Афина
со сбродом рожениц, кормилиц, повитух.

Всё подвиги свершать, Персея на Горгону
натравливать, терпеть хвалу досужих уст,
охочих до сластей. А не обречь ли грому
купальщиц молодых, боящихся медуз?

Когда б не плеск и смех — герои и атлеты
из грешных чресел их произрасти могли б,
и прачки, и рабы. — Идущий по аллее,
страшись! Гневлив, ревнив и молчалив Олимп.

— Что ж, — дерзкий говорит, — я Зевсу не соперник.
Но и моей главы возлюбленная дочь,
в сей миг, замедлив шаг на мраморных ступнях,
то не она ль стоит и озирает чернь?

Громоздко-стройный шлем водвинув в мрак заката,
свободно опершись на грозное копье,
живее и прочней, чем Фидиево злато,
ожгло мои зрачки измыслие мое.

Гром отвечал ему. В отъезде иль в уходе
он не был уличён, но слухов нет о нём.
Я с ужасом гляжу на дерево сухое,
спаленное ему ниспосланным огнём.

Он виноват, он лгал! Содеян не громоздко
богини стройный шлем, и праведно ее
воздетое для войн, искусства и ремёсла
и всех купальщиц вздор хранящее копье.

Но поздно! Месть сбылась змеиной, совоокой,
великой...ниц пред ней! (Здесь перерыв в строке:
я пала ниц.) Неслась вселенная вдоль окон,
дуб длани воздевал, как мученик в костре.

Такой грозы, как в день тринадцатый июня,
усилившейся в ночь на следующий день,
не видывала я. Довольно. Спать иду я.
Заря упразднена или не смеет рдеть.

Живого смысла нет в материальном мифе.
Афины — плоть тепла, непререкаем Зевс.
Светло живет душа в неочевидном мире,
приемля гнев богов как весть: — Мы суть. Мы здесь.

Июль 1988

в Малеевке

ВЕНЕЦИЯ МОЯ

Иосифу Бродскому

Темно, и розных вод смешались имена.
Окраиной басов исторгнут всплеск короткий.
То розу шлёт тебе, Венеция моя,
в Куоккале моей рояль высокородный.

Насупился — дал знать, что он здесь ни при чём.
Затылка моего советатель настойчив.
Его: «Не лги!» — стоит, как Ангел за плечом,
с оскомою в чертах. Я — хаос, он — настройщик.

Канала вид... — Не лги! — в окне не водворен
и выдворен помин о виденном когда-то.
Есть под окном моим невзрачный водоём,
застой бесславных влаг. Есть, признаюсь, канава.

Правдивый за плечом, мой Ангел, такова
протечка труб — струи источник реально.
И розу я беру с роялева крыла.
Рояль, твое крыло в родстве с мостом Риальто.

Не так? Но роза — вот, и с твоего крыла
(застенчиво рука его изгиб ласкала).
Не лжёт моя строка, но всё ж не такова,
чтоб точно обвести уклончивость лекала.

В исходе час восьмой. Возрождено окно.
И темнота окна — не вырождение света.
Цвет — не скажу какой, не знаю. Знаю, кто
содеял этот цвет, что вижу, — Тинторетто.

Мы дожили, рояль, мы — дожи, наш дворец
расписан той рукой, что не приемлет розы.
И с нами Марк Святой, и золотой отверст
зев льва на синева, мы вместе, все не взрослы.

— Не лги! — но мой зубок изгрыз другой букварь.
Мне ведом звук черней диеза и бемоля.
Не лгу — за что запрет и каркает бекар?
Усладу обрету вдали тебя, близ моря.

Труп розы возлежит на гущине воды,
которую зову как знаю, как умею.
Лев сник и спит. Вот так я коротаю дни
в Куоккале моей, с Венецией моею.

Обосенел простор. Снег в ноябре пришел
и устоял. Луна была зрачком искома
и найдена. Но что с ревнивцем за плечом?
Неужто и на час нельзя уйти из дома?

Чем занят ум? Ничем. Он пуст, как небосклон.
— Не лги! — и впрямь я лгун, не слыть же недолгой.
Не верь, рояль, что я съезжаю на поклон
к Венеции — твоей сопернице великой.

.....

Здесь — перерыв. В Италии была.
Италия светла, прекрасна.
Рояль простил. Но лампа, сокровище окна, стола, —
погасла.

Декабрь 1988

Ретино

ОДЕВАНИЕ РЕБЕНКА

Андрею Битову

Ребенка одевают. Он стоит
и сносит — недвижимый, величавый —
угодливость приспешников своих,
наскучив лестью челяди и славой.

У вешалки, где церемониал
свершается, мы вместе провисаем,
отсутствуем. Зеницы минерал
до-первобытен, свеж, непроницаем.

Он смотрит вдаль, поверх услуг людских.
В разъятый пух продеты кисти, локти.
Побыть бы им. Недолго погостить
в обители его лилейной плоти.

Предаться воле и опеке сил
лелеющих. Их укачаться зыбкой.
Сокрыться в нём. Перемешаться с ним.
Стать крапинкой под рисовой присыпкой.

Эй, няньки, мамки, кумушки, вы что
разнюнились? Быстрее одевайте!
Не дайте, чтоб измыслие вошло
поганым войском в млечный мир дитяти.

Для посягательств прыткого ума
возбранны створки замкнутой вселенной.
Прочь, самозванец, званный, как чума,
тем, что сияло и звалось Сиеной.

Влекут рабы ребенка паланкин.
Журчит зурна. Порхает опахало.
Меня — набег недуга полонил.
Всю ночь во лбу несло и полыхало.

Прикрыть глаза. Сна гобелен соткать.
Разглядывать, не нагляжусь покамест,
Палаццо Пикколомини в закат,
водвинутость и вогнутость, покатошь,

объятия нежно-каменный зажим
вкруг зрелища: резвится мимолётность
внутри, и Дева-Вечность возлежит,
изгибом плавным опершись на локоть.

Сиены площадь так нарёк мой жар,
это его наречья идиома.
Оставим площадь — вечно возлежать
прелестной девой возле водоёма.

Врач смущена: — О чём вы? — Ни о чём.
В разор весны ступаю я с порога
не сведущим в хождение новичком.
— Но что дитя? — Дитя? Дитя здорово.

Апрель 1990

Ретину

ПОРТРЕТ, ПЕЙЗАЖ И ИНТЕРЬЕР

Как строить твой портрет, дородное палаццо?
Втесался гость Коринф в дорический портал.
Стесняет сброд колонн лепнины опояска.
И зодчий был широк, и каменщик приврал.

Меж нами сходство есть, соитье розных родин.
Лишь глянет кто-нибудь, желая угадать,
в какой из них рождён наш многосуший ордер, —
разгадке не нужна во лбу седьмая пядь.

Собратен мне твой бред, но с наипущей лаской
пойду и погляжу, поглажу, назову:
мой тайный, милый мой, по кличке «мой миланский»,
гераневый балкон — на пруд и на зарю.

В окне — карниз и фриз, и бабий бант гирлянды.
Вид гипса — пучеглаз и пялиться горазд
на зрителя. Пора наведаться в герани.
Как в летке пыл и гул, должно быть, так горят.

За ели западал сплав ржавчины и злата.
Оранжевый? Жаркой? Прикрас не обновил
красильщик ни один, и я смиренно знала:
прилипчив и линюч эпитет-анилин.

Но есть перо, каким миг бытия врисован
в природу — равный ей. Зарю и пруд сложу
с очнувшейся строкой и, по моим резонам,
«мой бунинский балкон» про мой балкон скажу.

Проверить с е й туман за Глухово ходила.
А там стоял туман. Стыл островерхий лес.
Всё — вотчина моя. Родимо и едино:
Тамань — я там была, и сям была — Елец.

Прости, не прогони, приют порочных таинств.
Когда растёт сентябрь, то ластясь, то клубясь,
как жалко я спешу, в пустых полях скитаясь,
сокрыться в мощный плюш и дряблый алебастр.

Как я люблю витраж, чей яхонт дважды весел,
как лал и как сапфир, и толстый барельеф,
куда не львиный твой, не родовитый вензель
чванливо привнесен и выпячен: «Эль ЭФ».

Да, есть и желтизна. Но лишь педант архаик
предтечу помянёт, название огласит.
В утайке недр земных и словарей сохранен
сородич не цветка, а цвета: гиацинт.

Вот схватка и союз стекла с лучом закатным,
их выпечка лежит объёмна и прочна.
Охотится ладонь за синим и за алым,
и в желтом вязнет взор, как алчная пчела.

Пруд-изумруд причтёт к сокровищам шкатулка.
Сладчайшей из добыч пребудет вольный парк,
где барышня веков читает том Катулла,
как бабочка веков в мой хлороформ попал.

Там, где течет ковер прозрачной галереи,
бюст-памятник забыл: зачем он и кому.
Старинные часы то плач, то говоренье
мне шлют, учуяв шаг по тихому ковру.

Пред входом во дворец — мыслителей арена.
Где утренник молодой куртины разорил,
не снизошедший знать Палладио Андреа,
под сень враждебных чар вступает русофил.

Чем сумерки сплошней, тем ближе италиец,
что в тысяча пятьсот восьмом году рожден
в семье ди Пьетро. У, какие затаились
до времени красы базилик и ротонд.

Отчасти дом и ты — Палладио обитель.
В тот хрупкий час, когда темно, но и светло,
Виченца — для неё обочин путь обычен —
вовсельником вжилась в заглушное село.

И я туда тащусь, не тщаь дойти до места.
Возлюбленное мной — чем дале, тем сильней.
Укачана ходьбой, как дрёмою дормеза,
задумчивость хвалю возницы и коней.

Десятый час едва — без малой зги улада.
Возглавие аллей — в сиянье и в жару.
Во все свои огни освещена усадьба,
столетие назад, а я еще живу.

Радушен франт-фронтон. Осанисты колонны.
На сходбище теней смотрю из близкой тьмы.
Строения черты разумны и холёны.
Конечно, не вполне — да восвосях мы.

Кто лалы расхватал, тот времени подмену
присвоит, повлачит в свой ветреный сусек.
Я знаю: дальше что, и потому помедлю,
пока не лязгнет век — преемник и сосед.

Я стала столь одна, что в разноляпье дома,
пригляда не страшась, гуляет естество.
Скульптуры по ночам гримасничает догма.
Эклектика блазнит. Пожалуй, вот и всё.

*Осень 1991 и 1992
в Малеевке*

ВОКЗАЛЬЧИК

Сердчишко жизни — жил да был вокзальчик.
Горбы котомок на перрон сходили.
Их ждал детей прожорливый привет.
Юродивый там обитал вязальщик.
Не бельмами — зеницами седыми
всего, что зримо, он смотрел поверх.

Поила площадь пьяная цистерна.
Хмурь душ, хворь тел посуд не полоскали.
Вкус жесткой жижи и на вид — когтист.
А мимо них любители сотерна
неслись к нему под тенты полосаты.
(Взамен — изгой в моем уме гостит.)

Одно казалось мне недостоверно:
в окне вагона, в том же направлении,
ужель и я когда-то пронеслась?
И хмурь, и хворь, и площадь, где цистерна, —
набор деталей мельче нонпарели —
не прочитал в себя глядевший глаз?

Сновала прыткость, супилось терпенье.
Вязальщик оставался строг и важен.
Он видел запрокинутым челом
надземные незнаемые петли.

Я видела: в честь вечности он вяжет
безвыходный эпический чулок.
Некстати всплыло: после половодий,
когда прилив заманчиво и гадко

подводит счет былому барахлу,
то ль вождь беды, то ль вестник подневольный,
какого одинокого гиганта
сиротствует башмак на берегу?

Близ сукровиц драчливых и сумятиц,
простых сокровищ надобных взалкавших,
брела, крестясь на грубый обелиск,
живых и мертвых горемык со-матерь.
Казалось — мне навязывал вязальщик
наказ: ничем другим не обольстись.

Наказывал, но я не обольщалась
ни прелестью чужбин, ни скушной лестью.
Лишь год меж сентябрем и сентябрем.
Наказывай. В угрюмую прыщавость
смотрю подростка и округи. Шар ведь
земной — округлый помысел о нём.

Опять сентябрь. Весть поутру блазила:
— Хлеб завезли на станцию! Автобус
вот-вот прибудет! — Местность заждалась
гостинцев и диковинки бензина.
Я тороплюсь. Я празднично готовлюсь
не пропустить сей редкий дилижанс.

В добрососедство старых распрей вторглась,
в приют гремучий. Встреч помчались склоны,
рябины радость, рдяные леса.

Меньшой двойник отчества — автобус.
Легко добыть из многоликой злобы
и возлюбить сохранный свет лица.

Приехали. По-прежнему цистерна
язвит утробы. Булочной сегодня
ее триумф оспорить удалось.
К нам нынче неприветлива Церера.
Торгует георгинами зевота.
Лишь яблок вдосыть — под осадой ос.

Но всё ж и мы не вовсе без новинок.
Франтит и бредит импорт домотканый.
Сродни мне род уродов и калек.
Пинает лютость муку душ звериных.
Среди сует, метаний, бормотаний —
вязальщика слепого нет как нет.

Впустую обошла я привокзалье,
дивясь тому, что очередь к цистерне
на карликов делилась и верзил.
Дождь с туч свисал, как вещее вязанье.
Сплетатель самовольной Одиссеи,
глядевший ввысь, знать, сам туда возмыл.

Я знала, что изделие бесконечно
вязальщика, пришедшего оттуда,
где бодрствует, связуя твердь и твердь.
Но без него особенно кромешна
со мной внутри кровавая округа.
Чем искуплю? Где Ты ни есть, ответь.

1992

в Малеевке

ВИД СНИЗУ ВВЕРХ

Борису Толокнову

Был май в начале. Хладных и кипящих
следила я движенье сил морских.
К ним жало жажды примерял купальщик.
О, море-лев, зачем тебе москит,
пусть улетит. Уже зари натёки
кормяще впали в озеро Инкит.
Купальщик зябкий — яблоко на тёрке.
Взмахни хвостом, лев-море, пусть летит
подале, прочь от волн — горбов корпящих, —
мешает созерцанью красоты.
Зачем тебе докучливый купальщик?
Ответствовало море: — Это ты
валов моих невольная докука.
Я снизу вверх из волн на брег гляжу.
Лететь легко ль, да и лететь куда?
Когда узнаю — жаль, что не скажу.

1993

НАСЛАЖДЕНИЯ В КУОККАЛЕ

Ты ему: ближе к делу, а он — про козу белу.

Поговорка

I. Синяя арка

Когда Кoryтов арку возводил
(детдом ему отец, а мать — лихо),
мне арки цвет иль действия светил
навязывали имя Метерлинка.

С Кoryтовым нас коротко свело
родство и сходство наших рукоделий,
и, без утайки, каждый про своё,
мы толковали на задах котельной.

Моё занятие не давалось мне.
Кoryтову противилась пластмасса.
Рассвет синел в моём пустом окне.
В худом ведёрке синий цвет плескался.

Какой триумф желали увенчать
Кoryтов — аркой, брeнной и фатальной,
а я — издельем вымысла в ночах,
для нас обоих оставалось тайной.

На кухне незлобивый пересуд
решал: зачем с Кобытовым мы дружим?
Но арки — не всемирны ли абсурд,
всех соединивший слабым полукружьем?

Перо не шло, Кобытов кисть ронял,
и, наблюдая исподволь за нами,
в игру вступали флейта и рояль —
в том доме обитали музыканты.

Заслышав их, являлась мысль уму:
мираж не затруднителен, не так ли?
Разъятому и сирому всему
не в тягость будут своды синей арки.

И, может быть, немало бесприютств
утешатся под призрачным покровом.
Перо воспишет, звуки воспоют,
лоб озарится измышлением новым.

Был остов арки бледен и раним,
чем умилял смешливую окрестность.
Пока, пожалуй, только Метерлинк
решился заглянуть в её отверстость.

Пока Кобытов занят был трудом,
я шла гулять. Уже залива всплески
твердели. Рядом громоздился дом —
ровесник, кстати, знаменитой пьесы.

Синей синиц не обитало птиц
поблизости. Но птица: флюгер-символ,
воссевшая на деревянный шпиг,
поскрипывала, отливая синим.

В осьмом году построен для усад,
охочий для гостей и фейерверков,
дом-старец превратился в детский сад,
эпохи гнев стерпел и опровергнув.

В былые дни — какие кружева
вверх-вниз неслись по лестницам парадным?
Какая жизнь предсмертно здесь жила
при играх бриза с флюгером пернатым?

Залив держал Кронштадт над синевой.
Цвела витражных стёкол филигранность.
Пил кофе на террасе Сапунов,
вещуны-гущи не остерегаясь.

Ещё четыре года у него
до дня, когда Блок отвечал так строго.
Пока ладью во мглу не унесло,
четыре года — как огромно много.

Я жадно озидала скромный миг,
чьи продолженья скрытны и незримы,
на что и намекал не напрямик
дом, обращённый в бедные руины.

Стыл детский сад, покинутый детьми.
В угодых, слёз наследством населённых,
Фирс-Насморк брёл средь беспризорной тьмы —
изгой-избранник алых носоглоток.

Я удивлялась прибыли тоски,
игрушку позабытую всего лишь
заметив (здесь, в строке, — укусы осы
и перерыв, оброненный совочек).

Утрату детской ручки описать
не удалось: поры предзимней дивность —
оса, со сна проведав слово «сад»,
над вздутием кисти пристально трудилась.

Рука опухла. День клонил ко сну.
Строку б исправить — да оса мешала.
Не прогнала я острую осу —
как вспльчивый привет от Мандельштама.

Явившийся из отчуждённых звёзд,
отринул всё, что знаю и рифмую, —
«Вооружённый зреньем узких ос,
сосущих ось земную, ось земную...»

Я погасила лампу и спала,
Диктант нездешний записав в тетрадке.
Откуда бы ни донеслись слова,
я их сочла наитьем синей арки.

...С утра Кобытов, отрицавший власть,
схватился с бригадиром-моралистом.
Туманилась и распадалась связь
строения с непричастным Метерлинком.

Мы оба были с ним посрамлены.
Чурались букв строптивые страницы.
Кобытов красил синим валуны —
со зла иль в честь недостижимой птицы.

Пока на арку тратилась казна
и брег залива становился синим,
мою судьбу возглавила Коза,
весьма её возвысив и усилив.

II. Отступление о Козе

Всем известно уже: это было, когда
строил синюю арку Корытов.
На крыльце на моём возбелела Коза,
с грязью долгих дорог на копытах.

Увидав, каковы её стать и краса,
сочинители музык вскричали:
— Все мы — слуги твои. Князь над нами, Коза!
Не оставь нас в беде и печали.

Нам наскучил бемоль, нам диез надоел,
мы к ногам твоим сложим клавиры.
Но капуста тебе не грозит недоед
и достанет десертной ковриги.

Стал блистателен день, стали люди не злы,
всё исполнилось музыки дивной.
Есть у Бунина образ подобной козы,
изумительной и трагедийной.

На крыльце полнолунно мерцала Коза,
но порой, по прибрежной дороге,
отражая закат, несказанно красна,
шла со мною Коза в Териоки.

Одинаковы были у нас имена:
удручён синевой производства,
если зодчий-Корытов окликнет меня —
для начала Коза отзовётся.

Разъярённый, явился начальник Козы:
привязал её к велосипеду
и повлѣк в направленье домашней грозы,
но не смог побороть неполаду.

Вновь Коза на моём утвердилась крыльце.
Сник хозяин её одичавший.
Спать ложилась Коза, и, созвучно Козе,
сотрясался мой домик дощатый.

Становилась Корытова арка синей.
Снег был ранен сугробами марта.
Мы бродили под аркой с Козою моей,
как заблудшие призраки МХАТа.

Наш с Козою союз, всем на радость, крепчал,
но учёное сердце предзнало,
что любовь непреложно венчает печаль:
сборы, сумерки, запах вокзала.

Нрав Козы стал злокознен и рог не ленив.
Безутешно вспомню сегодня,
как прощалась с брадатостью козьих ланит
и с талантом её своеволья.

Был ужасен отъезд, разрывающий нас.
Вечно быть мне пред ней виноватой.
Горе жизни моей — вопрошающий глаз,
перламутровый, продолговатый.

Я, расплакавшись, ехала в Зеленогорск.
Козья прыть догоняла автобус.
В скорый поезд пускать не дозволено коз.
Так кончается грустная повесть.

III. Наслаждения в Куоккале

Вот мимо хвойных дюн и хмуро-хворых здравниц
блистая и смеясь, летит беспечный гость.
Куоккале моей не чужд сей чужестранец,
но супится вослед ему Зеленогорск.

Народец наш не зол, не то ему завидно,
что путник здрав умом, пригож, богат, любим.
Обидно, что не зря он мчится вдоль залива.
Мы ж попусту стоим и на замок глядим.

Его влечёт бокал с напитком можжевельным.
Соломинку возьмёт хозяин финских вод.
А тут измучен ум сомненьем ежедневным:
то ль вовсе нет её, то ль кончится вот-вот.

Потупится пред ним угодливость балета.
Нам это — тьфу, у нас своё па-де-труа.
Кленовый лист за ним взметнулся раболепно.
Я этот лист потом в грязи подобрала.

За быстролётность миль унылость вёрст тягучих
он держит... — Не замок загадочен, а то,
что продавец — внутри, и с нею Колька-грузчик.
— Какой? — Коляя с бельмом, с наколкой «Бельмондо».

Чу! До-диез стекла и тремоло кларнета
(Стравинский). Милый яд — вот льётся, вот замолк.
Там самобранный стол накрыт на два куверта.
— Открой! — Еще чего! — отвечает замок.

— Знай, Клавка: этот миг, когда ни с чем ушли мы,
еще припомнишь ты, варимая смолой! —
Опрятные крыла вдоль родины-чужбины
влекущий, поспешай в град, не скажу какой.

Град — не скажу какой, у сердца есть сноровка
во сторону твою отсель глядеть с тоской.
Меж мною и тобой в чём сила приворота?
Мне с ней не совладать, град, не скажу какой.

Я расточаю дни на вольные хожденья,
их цель сокрыта в них, пока брожу окрест.
Но всё ж и у меня свои есть наслажденья.
Да, наслажденья есть. Вот скромный их реестр.

IV. Домик

Влиятельных вблизи дизелов и неврозов,
чьи зябкие крыла летают налегке,
люблю мой кроткий герб, мой слабоумный розан —
в обоях на стене и в ситце на окне.

Живу себе, привет нехитрого дизайна
доверчиво приняв и пылко возлюбив.
Давно меня страшат дерзанья, притязанья.
А мой цветочек — ал, убог и незлобив.

Навряд ли мой сюжет покажется кому-то
заманчивым, но я считаю за триумф,
что птичьей толчей наполнена кормушка.
(Клянётся кот, что он — не зряч, не востроух.)

Прилягу на диван — кот мне на грудь ложится,
целебно умирив тахикардийный бег,
как если бы на нас не зарилась ошибка
сварливых новостей и неизбывных бед.

Круг кошек здесь широк и в дружестве не робок.
Пристрастия их сердец прочны и не просты.
Их путь сокрыт в снегу, зато поверх сугробов
возводят вертикаль и движутся хвосты.

«До» — «ми», рояль, где «ре»? Потеряно, продуту
утрачено тройной, трепещущей трубой.
Водопровода трюк: утробное профундо.
До-мик, на миг я спасена тобой.

Свет лампы возожжён. Сокрытый смысл нашёптан
В два цвета Дебюсси — черно-бело в окне.
Дарован домик мне, как если бы Нащокин
был милостив ко мне. Точнее: *и* ко мне...

V. Ветреная осень

Стояла осень счастья моего,
верней — неслась, нас к северу сдувало:
купальщиков, которым море по
колени, — с моря, лежебок — с дивана,
и Репино о скалы Монрепо
разбилось бы, но руки воздевала
подвижница Музея, небосклон
моля, чтоб раритеты не рассеял.
Клин экскурсантов, дик и невесом,
к надземным приноравливался сферам.
Сам знаменитый самобранный стол
возглавил вихрь, влекущий нас на север.

Стол-сумасброд, что потчевал невроз
элиты видом быстролётной снеди,
на этот раз с народом жил не врозь
и родственно вращался в лад со всеми.
Гуськом стоявший, взмыл Зеленогорск —
об очереди спорили соседи.
В условиях неба очередь важна
для упасенья сирой единицы.

В земной зиме в неё водворена
промозглость наша, как в пары теплицы.
Нестройность стаи опекла она
умом периодической таблицы.
Полёта вождь — сотрудница «Пенат»
изрядно знала репинскую тему.
Купальщик моря кротко ей пенял,
что не натурщик он, и зябко телу,
да и в Музее он не мог понять
жить в здоровом хладе Репина затею.
По счастью, встречный ветер налетел.
В надежде, что прилавок одолеем,
снижались мы всё круче и смелей.
Встав в очередь, теснима единеньем,
вновь в должном месте я, как элемент
в системе, что содеял Менделеев.
Котомку отворив, невдалеке,
не чуждый общих чаяний корыстных,
с высокомерной тайною в лице,
нас, усмехаясь, озирает Кобытов.
— Эх, времена! — он думал, как и все,
мне не доверив помыслов сокрытых.

VI. Светает

Седьмой в исходе час, и можно обозреть
согласье меж окном и синим томом Блока.
Извне глядит рассвет на милый образец:
не слишком ли синё? а так — не слишком блёкло?

Лилового чуть-чуть добавить ли? Скорей!
Срок малый отведён для сотворенья месив.
Вот для чего со мной пришлица-сирень,
персидская, и с ней помолвлен полумесяц.

Махровой гущины высокородна спесь,
и солнце, припоздав, её не одолело.

Дом с башней за окном еще не зрим, но есть:
шпиль разрывает мрак, как при грозе в Толедо.

Луч жёлтый привнесён в утрюмую зарю.
В избытке цвета нет излишка и огреха.
На сбывшийся рассвет устало я смотрю, —
как бы на свой шедевр задумчивый Эль Греко.

VII. Окрестности

Где имени старухи Изергиль
дворец воздвигнут пышно-худосочный,
люблю бродить. Не вовсе извратил
Палладио заветов буйный зодчий,
но скромность кватроченто превзошел,
ей навязав барочные ужимки.
Догадкой созерцатель поражён
и восклицает: — Я не на чужбине,

не близ Виченцы! — Где же? — Где-то здесь,
где надобно, в округе анонимной.
— Зачем же, в паллий невпопад одет,
стоит певец старухи знаменитой?
И гипсу зябко в этакую стынь.
Больное изваяние согрето
моей привычкой сообщаться с ним —
вблизи залива, да, но не в Сорренто.
Строение возведено давно
для утомлённых членов профсоюза.
Их отдых скуп: кино и домино,
тайком — вино. Всё кротко, простодушно.
Но есть и клуб для маленьких торжеств:
обнимка танцев улаживает будни.
В название клуба: красной краской в жель
уныло вписан мрачный вестник бури.
Присутствует лечебница — она
сама хворает в стильных коридорах.
Сердешная, она наречена

в честь Данко, так придумал кардиолог.
Но, знать, устройство наше таково:
всё к сердцу припеклось и приболело.
Моё, в залив глядящее, окно
уверено, что вперилось в Палермо.
Дух итальянский — не новинка здесь.
Да, Рима нет, но это поправимо.
Неподалёку санаторий есть,
зовётся он: «Джузеппе ди Марино».
Я думаю порой: кто сей морской?
Душою мягок и в сужденьях резок,
любил ли граппу? Мучимый тоской,
должно быть, о всеобщем счастье грезил?

Что ж, он отчасти своего достиг.
Прислуга санатория сварлива,
но жалостлива к жажде душ простых
в буфете у Джузеппе выпить пива.
Добившись утешительных глотков,
уст благодарность прямо говорила:
— Хоть мы не знаем, кто он был таков,
но в чём-то прав Джузеппе ди Марино.
Брожу средь перелесков и лощин.
Ко мне привык люд местный и приезжий.
Иду домой и вижу, снег лежит
на синей арке, несколько осевшей.
Всё в радость мне: и веник на крыльце,
и домика возлюбленная малость,
и снег, что тает на моём лице,
прохладен, как новёхонькая младость.

VIII. Поездка в Зеленогорск

На остановке собрался народ.
Его возбуждает дорога.
Автобусы следуют в Зеленогорск,
их два, но замешкались оба.

Собравшийся в школу, скажи, педагог:
как выбрать точнее и тоньше?
Мне двести одиннадцатый подойдёт,
но двести двенадцатый тоже.

Приблизились вместе, и тесно уже
калошам, заплатам, прорехам.
Мне двести одиннадцатый по душе —
как будто в нём Питер приехал.

Не весь и не сам, но послал, сколько мог,
даров: за чугунной решёткой
видение сада, и Аничков мост,
в стекле лобовом отражённый.

Но мне — пятьдесят километров всего
до них, если ехать обратно.
Меж тем над заливом совсем рассвело.
Автобус до цели добрался.

По Зеленогорску неспешно хожу
вдоль луж и асфальтовых кочек.
Заветный мой град в отдаленье держу
и рыбу скупаю для кошек.

В киоске воды попросила стакан
с гостинцем Полюстрова скушным.
Казалось: какой-то другой истукан
стоял, озирался и слушал.

И кто он — не знал ни один документ.
Во лбу расплылось и погасло.
Всего-то спросили его: — Вы за кем? —
а он отвечать испугался.

Хотел оттеснить его рыбный отдел,
да заступилась кассирша.
Милиции глаз на него поглядел —
не зло, просто так покосился.

Уборщица, с рыбьим борясь серебром,
прошла, чешую выметая,
и продавщица, взмахнув топором,
порушила глыбу минтая.

Тому, кем я стала, казались страшны
от рубки озябшие руки.
Он тупо уставился в рыбы зрачки,
закрытые наледью муки.

Да кто он такой — этот пришлый чужак,
залётная сирая птица?
И где его холодный подвал иль чердак,
где он без прописки ютится?

Иль спит он тайком под вокзальной скамьёй,
обманщик законов и правил?
Он изгнан с работы, отвергнут семьёй
и алиментов не платит.

Зачем он направился в универмаг?
Приказчик был сух и надменен,
когда он бессвязно его уверял,
что сделать покупку намерен,

а именно: пуговицу приобрести
желает он — время настало.
Просимое выдал ему продавец,
что было любезно и странно.

Румяная тётка смеялась над ним,
мальчонку пожарче закутав:
— Вот это обновы! — Он ей пояснил:
— Ещё и не то мы закупим.

В толкучке, видать, полегчало локтям:
он вёл себя вольно, речисто.
Рояль он оглядывал «Красный Октябрь»,
но тронуть его не решился.

Ему перерыв на обед помешал.
Добычливой публикой сдавлен,
он вышел. Нечаянно он помышлял
о граде печальном недалнем.

В пятидесяти километрах всего...
Не слишком ли дерзко, что — рядом?
Свободою: медлить — мосты развело
меж градом, столь близким, и взглядом.

Он вышел. Не вовсе он был нелюдим:
сплотились мы и не расстались.
Мне стало заметно, что мною любим —
мною бывший отчасти — скиталец.

Присвоенный образ прижился ко мне.
Пространных снегов обитатель,
я — ровня всем сущим на этой земле
и пуговицы обладатель.

А что до туманов моей головы, —
погодой ободрены зимней.
в очередях, в толчее голытьбы,
они — многодумней и зримей.

Удача поездки моей — не мала,
юдоль отвергаю иную.
— Здорово! — Корытов окликнул меня.
Мы с ним завернули в пивную.

А там — доставало усад и прикрас,
в дыму вдохновенье витало.
Корытов же был в телогрейке — как раз
ей пуговицы не хватало.

Сгодился подарок, какой-никакой,
для пущей красоты телогрея.
Вдруг мной овладел совершенный покой
впервые за долгое время.

Жаль — надобно на остановку идти.
Что ж, наши поклажи не тяжки.
Нам двести одиннадцатый по пути,
и двести двенадцатый также.

Автобус удобен, помимо всего,
и тем, что внушает автобус
к случайным соседям любовь и родство
и к добрым деяньям готовность.

Ум кошек явлению рыбы внимал.
Гуляла метель по равнинам.
С Коряковым мы разошлись по домам.
А пуговицу — уронил он.

Декабрь 1996

19 ОКТЯБРЯ 1996 ГОДА

Осенний день, особый день —
былого дня неточный слепок.
Разор деревьев, разор людей
так ярки, словно напоследок.

Опальный Пасынок аллея,
на площадь сосланный Страстную, —
суров. Вблизи — молодой атлет
вкушает вывеску съестную.

Живая проголодь права.
Книгочий изнурён тоскою.
Я неприкаянно брела,
бульвару подчинясь Тверскому.

Гостинцем выпечки летел
лист, павший с клёна, с жара-пыла.
Не восхвалить ли мой Лицей?
В нём столько молодости было!

Останется сей храм наук,
наполненный гурьбой задорной,
из страшных герценовских мук
последнею и смехотворной.

Здесь неокрепшие умы
такой воспитывал Куницын,
что пасмурный румянец мглы
льнул метой оспы к юным лицам.

Предсмертный огонь окна светил,
и Переделкинский изгнанник
простил ученикам своим
измены роковой экзамен.

Где мальчик, чей триумф-провал
услужливо в погибель вырос?
Такую подлость затевал,
а малости вина — не вынес.

Совпали мы во дне земном,
одной питаемые кашей,
одним пытаемые злом,
чьё лакомство снесёт не каждый.

Поверженный в забытый прах,
Сибири свежий уроженец,
ты простодушной жертвой пал
чужих велений и решений.

Прости меня, за то прости,
что уцелела я невольно,
что я весьма или почти
жива и пред тобой виновна.

Наставник вздоров и забав —
ухмылка пасти нездоровой,
чьему железу — по зубам
нетвёрдый твой орех кедровый.

Нас нянчили надзор и сыск,
и в том я праведно виновна,
что, восприняв ученья смысл,
я упаслась от гувернёра.

Заблудший недоученик,
я, самодельно и вслепую,
во лбу желала учинить
пядь сведумную седьмую.

За это — в близкий час ночной
перо поведает странице,
как грустно был проведен мной
страдалец, погребённый в Ницце.

19 октября 1996

НАДПИСЬ НА КНИГЕ: 19 ОКТЯБРЯ

Фазилу Искандеру

Согласьем розных одиночеств
составлен дружества уклад.
И славно, и не надо новшеств
новей, чем сад и листопад.

Цветет и зябнет увяданье.
Деревьев прибылен урон.
На с Кем-то тайное свиданье
опять мой весь октябрь уйдёт.

Его присутствие в природе
наглядней смыслов и примет.
Я на балконе — на перроне
разлуки с Днём: отбыл, померк.

День девятнадцатый, октябрьский,
печально щедрый добродей,
отличен силой и окраской
от всех, ему не равных, дней.

Припёк остуды: роза блекнет.
Балкона ледовит причал.
Прощайте, Пущин, Кюхельбекер,
прекрасный Дельвиг мой, прощай!

И Ты... Но нет, так страшно близок
ко мне Ты прежде не бывал.
Смеётся надо мною призрак:
подкравшийся Тверской бульвар.

Там дома двадцать пятый номер
меня тоскою донимал:
зловеще бледен, ярко нуден,
двойок и дик, как диамат.

Издёвка моего Лицея
пошла мне впрок, всё — не беда,
когда бы девочка Лизетта
со мной так схожа не была.

Я, с дальнозоркого балкона,
смотрю с усталой высоты
в уроки времени былого,
чья давность — старее, чем Ты.

Жива в плечах прямая сажень:
к ним многолетье снизошло.
Твоим ровесником оставшись,
была б истрачена на что?

На всплески рук, на блёстки сцены,
на луч и лики мне в лицо,
на вздор неодолимой схемы...
Коль это — всё, зачем мне всё?

Но было, было: буря с мглою,
с румяною зарёй восток,
цветок, преподносимый мною
стихотворению «Цветок»,

хребет, подверженный ознобу,
когда в иных мирах гулял
меж теменем и меж звездою
прозрачный перпендикуляр.

Вот он — исторгнут из жаровен
подвижных полушарий двух,
как бы спасаемый жонглёром
почти предмет: искомый звук.

Иль так: рассчитан точным зодчим
отпор ветрам и ветеркам,
и поведенья позвоночник
блюсти обязан вертикаль.

Но можно, в честь Пизанской башни,
чьим креном мучим род людской,
клониться к пятистопной блажи
ночь напролёт и день-деньской.

Ночь совладеет с днём коротким.
Вдруг, насылая гнев и гнёт,
потёмки, где сокрыт католик,
крестом пометил гугенот?

Лиловым сумраком аббатства
прикинулся наш двор на миг.
Сомкнулись жадные объятья
раздумья вкруг друзей моих.

Для совершенства дня благого,
покуда свет не оскудел,
надземней моего балкона
внизу проходит Искандер.

Фазиля детский смех восславить
успеть бы! День, повремени.
И нечего к строке добавить:
«Бог помочь вам, друзья мои!»

Весь мой октябрь иссякнет скоро,
часы, с их здравомыслием споря,
на час назад перевели.
Ты, одинокий вождь простора,

бульвара во главе Тверского,
и в Парке, с томиком Парни
прости быстротекучесть слова,
прерви медлительность экспромта,
спать благосклонно повели...

19 и в ночь на 27 октября 1996

ПОЕЗДКА В ГОРОД

Борису Мессереру

Я собиралась в город ехать,
но всё вперялись глаз и лоб
в окно, где увяданья ветхость
само сюжет и переплёт.

О чём шуршит интрига блеска?
Каким обречь ее словам?
На пальцы пав пылью обреза,
что держит взаперти сафьян?

Мне в город надобно, — но втуне,
за краем книги золотым,
вникаю в лиственной латуни
непостижимую латынь.

Окна усидчивый читатель,
слежу вокабул письмена,
но сердца брат и обитатель
торопит и зовёт меня.

Там — дом-артист нескладно статен
и переулков приворот
издревле славит Хлеб и Скатерть
по усмотренью Поваров.

Возлюблен мной и зарифмован,
знать резвость грубую ленив,
союз мольберта с граммофоном
надменно непоколебим.

При нём крамольно чистых пиршеств
не по усам струился мёд...
...Сад сам себя творит и пишет,
извне отринув натюрморт.

Сочтёт ли сад природой мёртвой,
снаружи заглянув в стекло,
собрание рухляди аморфной
и нерадивое стило?

Поеду, право. Пушкин, милый,
всё Ты, всё жар Твоих чернил!
Опять красу поры унылой
Ты самовластно учинил.

Пока никчемному посёлку
даруешь золото и багрец,
что к Твоему добавит слову
тетради узник и беглец?

Вот разве что: у нас в селенье,
хоть улицы весьма важней,
проулок имени Сирени
перечит именам вождей.

Мы из М и ч у р и н ц а, где листья
в дым обращает садовод.
Нам П е р е д е л к и н о — столица.
Там — ярче и хмельней народ.

О недороде огорода
пекутся честные сердца.
Мне не страшна запретность входа:
собачья стража — мне сестра.

За это прозвищем «не наши»
я не была уязвлена.
Сметливо-кротко, не однажды,
я в их владения звана.

День осени не сродствен злобе.
Вотще охоч до перемен
рождённый в городе Козлове
таинственный эксперимент.

Люблю: с оградой бодаясь,
привет козы меня узнал.
Ба! я же в город собиралась!
Придвинься, Киевский вокзал.

Ни с места он... Строптив и бурен
талант козы — коз помню всех.
Как пахнет яблоком! Как Бунин
«прелестную козу» воспел.

Но я — на станцию, я — мимо
угодий, пасек, погребов.
Жаль, электричка отменима,
что вольной ей до Поваров?

Парижский поезд мимолётный,
гнушаясь мною, здраво прав,
оставшись россыпью мелодий
в уме, вспомнившем Пиаф.

Что ум ещё в себе имеет?
Я в город ехать собралась.
С пейзажа, что уже темнеет,
мой натюрморт не сводит глаз.

Сосед мой, он отторгнут мною.
Я саду льщу, я к саду льну.
Скользит октябрь, гоним зимою,
румяный, по младому льду.

Опомнилась руки повадка.
Зрачок устал в дозоре лба.
Та, что должна быть глуповата,
пусть будет, если не глупа.

Луны усилилось значенье
в окне, в окраине угла.
Ловлю луча пересечение
со струйкой дыма и ума,

пославшего из недр затылка
благожелательный пунктир.
Растратчик: детская копилка —
всё получил, за что платил.

Спит садовод. Корпит ботаник,
влеком Сиреневым Вождём.
А сердца брат и обитатель
взглянул в окно и в дверь вошёл.

Душа — надземно, над-оконно —
примерилась пребыть не здесь,
отведав воли и покоя,
чья сума — счастье и есть.

Ночь на 27 октября 1996

ЧУЖАЯ МАШИНКА

Моя машинка — не моя.
Мне подарил ее коллега,
которому она мала,
а мне — как раз, но я жалела
ее за то, что человек
обрёк ее своим повадкам,
и, сделавшись живей, чем вещь,
она страдала, став подарком.
Скучал и бунтовал зверёк,
неприрученный нрав насупив,
и отвергал как лишний слог
высокопарнейший мой суффикс.
Пришелец из судьбы чужой
переиначивал мой почерк,
меня неведомой душой
отяготив, но и упрочив.
Снесла я произвол благой
и сделаюсь судьбой моею —
всегда желать, чтоб мой глагол
был проще, чем сказать умею.
Пока в себе не ощутишь
последней простоты насущность,
слова твои — пустая тишь,
зачем ее слагать и слушать?

Какое слово предпочесть
словам, их грешному излишку —
не знаю, но всего, что есть,
укор и понуканье слышу.

1974

ДВА ГЕПАРДА

Этот ад, этот сад, этот зоо —
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая,
сердцем втиснувшись в сердце — века
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, ухожу ли —
не слабее с той давней поры
их объятие густое, как джунгли,
и сплошное, как камень горы.

Обнялись — остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.

* * *

Анне Ахматовой

Я завидую ей — молодой
и худой, как рабы на галере:
горячей, чем рабыни в гареме,
возжигала зрачок золотой
и глядела, как вместе горели
две зари по-над невской водой.

Это имя, каким назвалась,
потому что сама захотела, —
нарушенье черты и предела
и востока незванная власть,
так — на северный край чистотела
вдруг — персидской сирени напасть.

Но ее и мое имена
были схожи основой кромешной,
лишь однажды взглянула с усмешкой,
как метелью лицо обмела.
Что же было мне делать — посмевшей
зваться так, как называли меня?

Я завидую ей — молодой
до печали, но до упаданья
головою в ладонь, до страданья,
я завидую ей же — седой
в час, когда не прервали свиданья
две зари по-над невской водой.

Да, как колокол, грузной, седой,
с вещим слухом, окликнутым зовом:

то ли голосом чьим-то, то ль звоном,
излучённым звездой и звездой,
с этим неописуемым зобом,
полным песни, уже неземной.

Я завидую ей — меж корней,
нищей пленнице рая и ада.
О, когда б я была так богата,
что мне прелесть оставшихся дней?
Но я знаю, какая расплата
за судьбу быть не мною, а ей.

1974

* * *

Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет.
— Вам сколько лет? — Ответила: — Осьмнадцать.
Многоугольник скул, локтей, колен.
Надменность, угловатость и косматость.

Всё чудно в ней: и доблесть худобы,
и рыцарский какой-то блеск во взгляде,
и смуглый лоб... Я знаю эти лбы:
ночь напролёт при лампе и тетради.

Так и сказала: — Мне осьмнадцать лет.
Меня никто не понимает в доме.
И пусть! И пусть! Я знаю, что поэт! —
И плачет, не убрав лицо в ладони.

Люблю, как смотрит гневно и темно,
и как добра, и как жадна до боли.
Я улыбаюсь. Знаю, что — давно,
а думаю: давно ль и я, давно ли?..

Прощается. Ей надобно — скорей,
не расточив из времени ни часа,
робеть, не зная прелести своей,
печалиться, не узнавая счастья...

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне говорят: который год
в твоём доме идёт ремонт,
и, говорят, спешит народ
взглянуть на бодрый ход работ.

Какая вновь взята Казань
и в честь каких побед и ран
встает мучительный глазам
цветастый азиатский храм?

Неужто столько мастеров
ты утруждаешь лишь затем,
созвав их из чужих сторон,
чтоб тень мою свести со стен?

Да не любезничай, чужак!
Ату её, гони взащей –
из вечной нежности собак,
из краткой памяти вещей!

Не надо храма на крови!
Тень кротко прянет за карниз –
а ты ей лакомство скорми,
которым угощают крыс.

А если в книжный переплёт —
пусть книги кто-нибудь сожжет.
Она опять за свой полёт —
а ты опять за свой сачок.

Не позабудь про дрожь перил:
дуб изведи, расплавь металл
им локоть столько говорил,
покуда вверх и вниз летал.

А если чья-нибудь душа
вдруг обо мне тайком всплакнет -
пусть в устье снега и дождя
вспорхнет сквозь белый потолок.

И главное — чтоб ни одной
свечи, чтоб ни одной свечи:
умеет обернуться мной
свеча, горящая в ночи.

Не дай, чтоб паялилась свеча
в твои зрачки своим зрачком.
Вот что еще: убей сверчка!
Мне доводилось быть сверчком.

Всё делай так, как говорю,
пока не поздно, говорю,
не то устанешь к декабрю
и обратишь свой дом в зарю.

1974

* * *

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.

Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь!

Какая удача, что тени легли
вкруг ёлок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозеленая новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.

Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились?
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.

Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный...

Декабрь 1974

ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА

Не сани летели — телега
скрипела, и маленький лес
просил подаяния снега
у жадных иль нищих небес.

Я утром в окно посмотрела:
какая невзрачная рань!
Мы оба тоскуем смертельно,
не выжить нам, брат мой февраль.

Бесснежье голодной природы,
измучив поля и сады,
обычную скудость невзгоды
возводит в значенье беды.

Зияли надземные недра,
светало, а солнце не шло.
Взамен плодородного неба
висело пустое ничто.

Ни жизни иной, ни наживы
не надо, и поздно уже.
Лишь бедная прибыль снежинки
угодна корыстной душе.

Вожак беззащитного стада,
я знала морщинами лба,
что я в эту зиму устала
скитаться по пастбищу льда.

Звонила начальнику книги,
искала окольных путей
узнать про возможные сдвиги
в судьбе моих слов и детей.

Там — кто-то томился и бегал,
твердил: его нет! его нет!
Смеркалось, а он всё обедал,
вкусал свой огромный обед.

Да что мне в той книге? Бог с нею!
Мой почерк мне скушен и нем.
Писать, как хочу, не умею,
писать, как умею, — зачем?

Стекло голубело, и дивность
из пекла антенн и реле
проистекала, и длилась,
и зримо сбывалась в стекле.

Не страшно ли, девочка диктор,
над бездной земли и воды
одной в мироздании диком
нестись, словно лучик звезды?

Пока ты скиталась, витала
меж башней и зреньем людей,
открылась небесная тайна
и стала добычей твоей.

Явилась в глаза, уцелела,
и доблестный твой голосок
неоспоримо и смело
падение снега предрёк.

Сказала: грядущею ночью
начнется в Москве снегопад.
Свою драгоценную ношу
на нас облака расточат.

Забудет короткая память
о муке бесснежной зимы,
а снег будет падать и падать,
висеть от небес до земли.

Он станет счастливым избытком,
чрезмерной любовью судьбы,
услadoю губ и напитком,
весною пьянящим сады.

Он даст исцеленье болевшим,
богатством снабдит бедняка,
и в этом блаженстве белейшем
сойдутся тетрадь и рука.

Простит всех живущих на свете
метели вседобрая власть,
и будем мы — баловни, дети
природы, влюбившейся в нас.

Да, именно так всё и было.
Снег падал и долго был жив.
А я — влюблена и любима,
и вот моя книга лежит.

* * *

Андрею Вознесенскому

За что мне всё это? Февральской теплыни подарки,
поблажки небес: то прилив, то отлив снегопада.
То гляну в окно: белизна без единой помарки,
то сумерки выросли, словно растения сада.

Как этого мало, и входит мой гость ненаглядный.
Какой ты нарядный, а мог оборванцем скитаться.
Ты сердцу приходишься братом, а зрению — наградой.
О, дай мне бедою с твоею звездой расквитаться.

Я — баловень чей-то, и не остается оружия
ума, когда в дар принимаю твой дар драгоценный.
Входи, моя радость. Ну, что же ты медлишь, Андрюша,
в прихожей, как будто в последних потёмках за сценой?

Стекло о стекло, лоб о губы, а ложки — о плошки.
Не слишком ли это? Нельзя ли поменьше, поплоче?
Боюсь, что так много. Ненадобно больше, о, Боже.
Но ты расточитель, вот книга в зеленой обложке.

Собрat достoчтимый, люблю твою новую книгу,
еще не читая, лаская ладонями глянец.
Я в нежную зелень проникну и в суть ее вникну.
Как всё — зеленеет — куда ни шагнешь и ни глянешь.

Люблю, что живу, что сиденье на ветхом диване
гостей неизбежных его обрекло на разруху.
Люблю всех, кто жив. Только не расставаться давайте,
сквозь слезы смотреть и нижайше дивиться друг другу.

1975

* * *

Стихотворения чудный театр,
нежся и кутайся в бархат дремотный.
Я — ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Я — лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действия.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосыгаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —
нас упасти от любви его лютой?
Как помыкает безграмотной лютней
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —
мука, когда раздирают отверстия
труб — для рыданья и губ — для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран
стихотворения чудный театр.

1975

ЗАПОЗДАЛЫЙ ОТВЕТ ПАБЛО НЕРУДЕ

Коль впрямь качнулась и упала
его хранящая звезда,
откуда эта весть от Пабло
и весть моя ему — куда?

С каких вершин светло и странно
Он озирает белый свет?
Мы все прекрасны несказанно,
пока на нас глядит поэт.

Вовек мне не бывать такою,
как в сумерках того кафе,
воспетых чудною строкою,
столь благосклонною ко мне.

Да было ль в самом деле это?
Но мы, когда отражены
в сияющих зрачках поэта,
равны тому, чем быть должны.

1975

АННЕ КАЛАНДАДЗЕ

Как мило всё было, как странно.
Луна восходила, и Анна
печалилась и говорила:
— Как странно всё это, как мило. —
В деревьях вблизи ипподрома —
случайная сень ресторана.
Веселье людей. И природа:
луна, и деревья, и Анна.
Вот мы — соучастники сборищ.
Вот Анна — сообщник природы,
всего, с чем вовеки не споришь,
лишь смотришь — мгновенья и годы.
У трав, у луны, у тумана
и малого нет недостатка.
И я понимаю, что Анна —
явление того же порядка.
Но, если вблизи ипподрома,
но, если в саду ресторана,
и Анна, хотя и продрогла,
смеется так мило и странно,
я стану резвей и развязней
и вымолвлю тост неизбежный:
— Ах, Анна, я прелести вашей
такой почитатель прилежный.

Позвольте спросить вас: а разве
ваш стих — не такая ж загадка,
как встреча Куры и Арагвы
близ Мцхета во время заката?
Как эти прекрасные реки
слились для иного значенья,

так вашей единственной речи
нерасторжимы теченья.
В ней чудно слова уцелели,
сколь есть их у Грузии милой,
и раньше — до Свети-Цховели,
и дальше — за нашей могилой.
Но, Анна, вот сад ресторана,
веселье вблизи ипподрома,
и слышно, как ржет неустанно
коней неусыпная дрёма.
Вы, Анна, — ребенок и витязь,
вы — маленький стебель бесстрашный,
но, Анна, клянитесь, клянитесь,
что прежде вы не были в хашной! —
И Анна клялась и смеялась,
смеялась и клятву давала:
— Зарёй, затевающей алость,
клянусь, что еще не бывала! —
О жизнь, я люблю твою сущность:
луну, и деревья, и Анну,
и Анны смятение и ужас,
когда подступали к духану.
Слагала душа потаенно
свой шелест, в награду за это
присутствие Галактиона
равнялось избытку рассвета,

не то, чтобы видимо зрению,
но очевидно для сердца,
и слышалось: — Есмь я и рею
вот здесь, у открытого среза
скалы и домов, что нависли
над бездной Куры близ Метехи.
Люблю ваши детские мысли
и ваши простые утехи. —
И я помышляла: покуда
соседом той тени не стану,
дай, жизнь, отслужить твое чудо,
ту ночь, и то утро, и Анну...

1975

* * *

Гие Маргвелашвили

Я столько раз была мертва
иль думала, что умираю,
что я безгрешный лист мараю,
когда пишу на нем слова.

Меня терзали жизнь, нужда,
страх поутру, что всё сначала.
Но Грузия меня всегда
звала к себе и выручала.

До чудных слёз любви в зрачках
и по причине неизвестной,
о, как, когда б вы знали, — как
меня любил тот край прелестный.

Тифлис, не знаю, невдомёк —
каким родителем суровым
я брошена на твой порог
подкидышем большеголовым?

Тифлис, ты мне не объяснял
и я ни разу не спросила:
за что дарами осыпал
и мне же говорил «спасибо»?

Какую жизнь ни сотворю
из дней грядущих, из тумана, —
чтоб отслужить любовь твою,
всё будет тщетно или мало...

1975

* * *

Помню — как вижу, зрачки затемню
веками, вижу: о, как загорело
всё, что растёт, и, как песнь, затяну
имя земли и любви: Сакартвело.

Чуждое чудо, грузинская речь,
Тереком буйствуй в теснине гортани,
ах, я не выговорю — без предтеч
крови, воспитанной теми горами.

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,
в предки не взять и родство опровергнуть?
Ваше — во мне, если в почву вошла
косточка — выйдет она на поверхность.

Слепы уста мои, где поводырь,
чтобы мой голос впотьмах порезвился?
Леса ли оклик услышу, воды ль —
кажется: вот говорят по-грузински.

Как я люблю, славянин и простак,
недостигаемость скороговорки,
помнишь: лягушки в болоте... О, как
мучают горло предгорья, пригорки

грамоты той, чьи вершины в снегу
Ушбы надменной. О, вздор альпенштока!
Гмерто, ужель никогда не смогу
высказать то — несказанное что-то?

Только во сне — велика и чиста,
словно снега, — разрастаюсь и рею,
сколько хочу услаждаю уста
речью грузинской, грузинскою речью...

1975

* * *

Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...
Жила-была Белла... потом умерла...
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,
где Гия и Шура встречали меня.

О, длилось бы вечно, что прежде бывало:
с небес упал солнцепёк проливной,
и не было в городе этом подвала,
где Гия и Шура не пили со мной.

Как свечи, мерцают родимые лица.
Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.

Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! — Да тщетно: как Шура и Гия,
никто никогда не полюбит меня.

1975

МОСКВА НОЧЬЮ ПРИ СНЕГОПАДЕ

Борису Мессереру

Родитель-хранитель-ревнитель души,
что ластишься чудом и чадом?
Усни, не таращь на луну этажи,
не мучь Александровским садом.

Москву ли дразнить белизною Афин
в ночь первого сильного снега?
(Мой друг, твое имя окликнет с афиш
из отчуждения, как с неба.

То ль скареда лампа жалеет огня,
то ль так непроглядна погода,
мой друг, твое имя читает меня
и не узнает пешехода.)

Эй, чудище, храмище, больно смотреть,
орды угомон и поминки,
блаженная пестрядь, родимая речь —
всей кровью из губ без запинки.

Деньга за щекою, раскосый башмак
в садочке, в калине-малине.
И вдруг ни с того ни с сего, просто так,
в ресницах — слеза по Марине...

1975

* * *

Я школу Гнесиных люблю,
пока влечет меня прогулка
по снегу, от угла к углу,
вдоль Скатертного переулка.

Дорожка — скатертью, богат
крахмал порфиноносной прачки.
Моих две тени по бокам —
две хилых пристяжных в упряжке.

Я школу Гнесиных люблю
за песнь, за превышение прозы,
за желтый цвет, что ноябрю
предъявлен, словно гроздь мимозы.

Когда смеркается досуг
за толщей желтой штукатурки,
что делает согбенный звук
внутри захлопнутой шкатулки?

Сподвижник музыки ушел —
где музыка? Душа погасла
для сна, но сон творим душой,
и музыка не есть огласка.

Не потревожена смычком
и не доказана нимало,
что делает тайком, молчком
ее материя немая?

В тигриных мышцах тишины
она растет прыжком подспудным,
и сны ее совершенны
сокрытым от людей поступком.

Я школу Гнесиных люблю
в ночи, но более при свете,
скользя по утреннему льду,
ловить еду в худые сети.

Влеку суму житья-бытья.
Иному подлежа влеченью,
возвышенно бредёт дитя
с огромною виолончелью.

И в две слезы, словно в бинокль,
с недоуменьем обнаружу,
что безбоязненный бемоль
порхнул в губительную стужу.

Чтобы душа была чиста,
ей надобно доверье к храму,
где чьи-то детские уста
веки распевают гамму,

и крошка-музыкант таков,
что, бодрствуя в наш час дремотный,
один вдоль улиц и веков
всегда бредет он с папкой нотной.

Я школу Гнесиных люблю,
когда бела её ограда
и сладкозвучную ладью
колышут волны снегопада.

Люблю ее, когда весна
велит, чтоб вылезли петунии
и в даль открытого окна
доверчиво глядят певунии.

Зачем я около стою?
Мы слух на слух не обменяем:
мой — обращен во глубь мою,
к сторонним звукам невменяем.

Прислушаюсь — лишь боль и резь,
а кажется — легко, легко ведь...
Сначала — музыка. Но речь
вольна о музыке глаголить.

1975

ЛУНА В ТАРУСЕ

Двенадцать часов. День июля десятый
Исчерпан, одиннадцатый — не почат.
Меж зреющей датой и датой иссякшей —
мгновенье, когда телефон и почтамт
меняют тавро на тавро и печально
вдоль времени следуют бланк и конверт.
До времени, до телеграфа, почтамта
мне дальше, чем до близлежащей, — о нет,
до близплывущей, пылающей ниже,
насушней, чем мой рукотворный огонь
в той нише, где я и крылатые мыши, —
луны, опаляющей глаз сквозь ладонь,
загаром русалок окрасившей кожу,
в оклад серебра облекающей лоб,
и фосфор, демаскирующий кошку,
отныне и есть моя брэнная плоть.
Я мучу доверчивый ум рыболова,
когда, запалив восковую звезду,
взмываю в бревенчатой ступе балкона,
предавшись сверканью, как будто труду.
Всю ночь напролёт для неведомой цели
бессмысленно светится подвиг души,
как будто на ветку рождественской ели
повесили шар для красы и ушли.

Сообщник и прихвостень лунного света,
смотрю, как живет на бумаге строка
сама по себе. И бездействие это
сильнее поступка и слаще стиха.

С луной разделив ее труд и мытарство,
последним усилием свечу загашу
и слепо тащусь в направленье матраца.
За горизонт бытия захожу.

1976

* * *

Деревни Бёхово крестьянин...
А звался как и жил когда —
всё мох сокрыл, затмил кустарник,
размыла долгая вода.
Не вычитать из недомолвок
непрочного известняка:
вдруг, бедный, он остался молод?
Да, лишь одно наверняка
известно.
И не больше вздора
всё прочее, на что строку
потратить лень.
Дождь.
С косогора
вид на Тарусу и Оку.

1976

ПУТНИК

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино (оно
зовет себя: Алекино),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком
и, может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
в Алёкино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чьей-то думы и печали?
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегдатай,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припёк огня
небесного, он от меня
всё дальше и — исчезнет скоро.
Смотрю вослед своей душе,
как в сумерках на убыль света,

отсутствую и брезжу где-то
то ли еще, то ли уже.

И, выпроставшись из артерий,
громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.

Мое сознание растолкав
и заново его туманя
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.
Сижу. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятя
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.
И снова путник одержимый
вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.
Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нём ответственность лежит.

1976

ПРИМЕТЫ МАСТЕРСКОЙ

Б.М.

О гость грядущий, гость любезный!
Под этой крышей поднебесной,
которая одной лишь бездной
всевышней мглы превзойдена,
там, где четыре граммофона
взирают на тебя с амвона,
пируй и пей за время оно,
за граммофоны, за меня!

В какой немыслимой отлучке
я ныне пребываю, — лучше
не думать! Ломаной полушки
жаль на помин души моей,
коль не смогу твой пир обильный
потешить шуткой замогильной
и, как всеведущий Вергилий,
тебя не встречу у дверей.

Войди же в дом неимоверный,
где быт — в соседях со вселенной,
где вечности озноб мгновенный
был ведом людям и вещам

и всплеск серебряных сердечек
о сквозняке пространств нездешних
гостей, когда-то здесь сидевших,
таинственно оповещал.

У ног, взошедших на Голгофу,
доверься моему глаголу

и, возведя себя на гору
поверх шестого этажа,
благослови любую малость,
почти предметов небывалость,
не смей, чтобы тебя боялась
шарманки детская душа.

Сверкнет ли в окнах луч закатный,
всплакнет ли ящик музыкальный
иль призрак севера печальный
вдруг вздыбит желтизну седин —
пусть реет над юдолью скушной
дом, как заблудший шар воздушный,
чтоб ты, о гость мой простодушный,
чужбину неба посетил...

1976

СТИХИ К СИМФОНИЯМ ГЕКТОРА БЕРЛИОЗА

*Посвящается
Гектору Берлиозу,
Генриетте Смитсон*

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА Поэтическое изложение сцен симфонии Гектора Берлиоза по трагедии Уильяма Шекспира

I. Вступление

Итак, в Вероне, столько лет назад,
сколь звёзд полнощных над тобой, Верона,
случилось саду ненавидеть сад
и брату брата. Два старинных рода
забыли, в чём причина их вражды,
не забывая враждовать извечно.
Но коли вы под этот свод вошли,
вам, без сомненья, всё это известно.
Вдруг спросите: а не с ума ль сошед

затеял некто излагать сюжет,
что и невежде с малолетства ведом?
Как белый свет твои слова, поэт:
чем дольше мы глядим на белый свет,
тем меньше сил расстаться с белым светом.
И лишь затем мой неумелый стих
осмелился средь стен священных сих
вотще дерзить безмолвию органа,
чтоб возвестить: нас миг врасплох застиг,
за краткость наших горестей земных
нам музыка — награда и отрада.
Ее озноб сквозит вдоль наших спин,
и, словно мало музыки для слуха,
лишь рождены — уже нас ждет Шекспир.

Заранее вознаграждена заслуга
возвысить дух и преклонить чело.
Я больше не скажу вам ничего.
Однако не послушать ли Эскала?
Вы помните, что он — Вероны князь
и говорит: — Вы обрекли на казнь
ту тишину, что музыки искала.
Забыли вы средь попранных олив,
что род людей — один ион делим
не на Монтекки и на Капулетти,
на тех, кто был убит и кто убил,
а лишь на тех, кто любит и любим
вослед Ромео и вослед Джульетте.
О, тишины и жизни палачи!
Пролитье крови вашу кровь накажет.
Умолкла я. И ты, Эскал, молчи.
Всё остальное музыка доскажет.

II. Концерт и бал

Еще Ромео слов не произнес.
Два нераздельных сердца бьются розно.
Здесь пауза. Так хочет Берлиоз.
А я хочу восславить Берлиоза
и ту, что Генриеттою звалась.
Как мучила! А ныне — тень, загадка,
но чудный звук ее живая власть
диктует неподвластью музыканта,
бал впархивает в чопорный дворец.
Джульетта, с днём рожденья! с днём свиданья
с избранником твоим! Уже венец
всех звёзд над вами держит мирозданье!
Есть лишь любовь! Нет смерти на земле!
Джульетта, вот подарки посвящений.
Живи всегда! При утренней заре
не время думать о заре вечерней.
Жалела бы, что пауза мала.
Глагол любви мои уста неволит.

Но музыка сама себе хвала,
сама любовь и о любви глаголет.

III. Королева Маб. Монолог Меркуцио

Меркуцио, пока ты не испил
хмель бытия, раскинув ум, как сети
для простаков, пока тебе Шекспир
паясничать велит пред ликом смерти,
суди-ряди про королеву Маб.
Хвали ее причуды и проказы!

В кошачий март и соловьиный май
всех девственниц, которые прекрасны,
чужды страстям, привержены к сладостям,
с улыбкой королева Маб прощает,
нашепчет вздор, забыв про стыд и срам,
и лбы их непорочные прыщавит.
Их сон невинный в предрассветный час
из грёз слагает образ кавалера,
но неизбежность их грядущих чад
к ним тяжко примеряет королева.
Коль вдруг: «апчихи!» — и падают очки
со лба того, кто денди слыл дотолё, —
то королева Маб — дитя, учти, —
в его ноздре летит на фаэтоне.
Маб, как известно, повитуха фей.
Фей, как известно, искушает эхо.
Ах, страх! и — ах! — в руках у Маб — трофей,
и к прочим эльфам мы прибавим эльфа.
Если вельможа, чей высокий сан —
над нами, как звезда над звездочётом,
худеет, предается странным снам,
гнушается богатством и почётом,
знай: королева Маб над ним в ночи
стихи шептала, музыкой гремела,
и он ей внял.
— Меркуцио, молчи,
ты — пустомеля. (То слова Ромео.)

И впрямь молчи, задира, коновод,
шутник убитый и шалун бессмертный.
Умы глупцов столетья напролёт
напрасно ты дразнил твоей беседой.
А я? Вдруг спросят: белый лист вам мал,

что вы сюда явились? Бог и люди,
всё это — козни королевы Маб,
Маб — королевы выдумки и плутни.

IV. Сцена в саду

Еще луна светла меж облаков
и вещей звёзд сияет Божья милость.
Но лишь Джульетта выйдет на балкон,
погаснет всё, что некогда светилося.
Пред ней луна — завистливый урод,
подслеповаты звёзды рядом с нею.
Джульетта, света твоего урок
не выучить вовек свече и снегу.
Ты — гений там, где глуповат огонь:
держат огонь в его отверстой пасти —
легко. Но, протянув к тебе ладонь,
сожжешь о воздух пальцы и запястья.
Джульетта, чем играешь? Ты дитя,
так чем играешь? Кружевом, атласом,
стеклом венецианского дутья
иль вечностью светил? Я быть согласен
любой твоей забавой, быть ничем,
быть сургучом для перстенька-печатки,
перчаткой быть! О, нет, большая честь!
Быть пуговицей от твоей перчатки!

Луной, как снегом, землю замело.
Луна и снег равно черны для взора.
Ромео, имя рода моего —
безделицы названье, кличка вздора.
Не жаль мне сотни, тысячу отдам
усопших и грядущих Капулетти,

чтоб вымолвить: Монтеки. Высший дар
небес — устам лелеять звуки эти.
Ромео, я боялась водяных,
покойников, лягушек, вурдалаков.
Коль скажут: жди Ромео среди них,
их поцелуй мне будет мил и лаком.
Вся нечисть мира чище и добрей,
чем жаворонок, что сулит разлуку.
Коль в смерть войдешь, не закрывай дверей
за бытием, пока не дашь мне руку.
Смешны мне те, кто говорит: не тронь!
не надо! я страшусь твоей любви!
Ромео, только протяни ладонь —
всё то, что я, падет в твои ладони.

Необратим бег роковой ладьи
и гонит парус наущенье Бога.
Но ты умрешь, Джульетта. Ночь любви
у нас одна. Ночей у смерти — много.
Ребенок, ангел, жизнь моя, жена,
убить Тебя — божественно живуя,
чтоб всяк, кто есть, в иные времена
оплакивал ту рану ножевую!

Ромео, ты младенец, а не я.
Смерть — это краткость,
боли всплеск мгновенный,
а ночь любви — длинней житья-бытья.
Она у нас — как вечность у Вселенной.
Что смерть, когда любовью занят ум!
Наш срок с тобою счётом не измеришь.
Мы — длительней небес, прочнее лун.
Столетия пройдут. Ты мне поверишь.

V. Ромео в гробнице Капулетти

Угодник музыки, зато хозяин ямба,
я лгать хочу, мне будет ложь легка.

Аптекарь не дает Ромео яда.
Тогда зачем Джульетте хлад клинка?
В тот раз всё обошлось на белом свете:
и не было чумы, и карантин
не помешал монаху. И о смерти
мы знать не знаем, если не хотим.
Но смею ль я лишить вас чудной муки
смотреть, как после яда и клинка
Ромео и Джульетта тянут руки
друг к другу сквозь века и облака.
Величие нельзя переиначить.
оно нас учит, а не веселит.
Коль станем лгать, не выжить внукам нашим,
а мне их жаль, и мир на том стоит,
что нет блаженства, если нет трагедий.
Вы о Шекспире знаете, что гений —
Шекспир. Так плачьте, но не сожалейте
о нём, и о Ромео и Джульетте.

VI. Эпилог

Не умерли еще. Ужель умрут,
оставив нам безвыходность подсчёта:
а сколько лет им ныне? — вечный труд
поэзии и музыки, и что-то,
то ли намёк на то, то ли указ

о том, что смерть еще не знает средства,
нас умертвив, избавить мир от нас.
Любовь — есть гений и спасенье сердца.

И нет тому счастливее примера,
чем повесть о Джульетте и Ромео.

1976

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ

I. Мечтания. Страсти

Меж двух огней, меж музыкой и словом,
я не надеюсь лепетом поэм
симфонию украсить смыслом новым
и смысл ее вам без прикрас повею.

Вообразим, что некогда и где-то
артист, поэт, безумец был влюблен.
О, нет! Влюбленным можно быть в поэта,
поэт — любил, и жаждал смерти он.

Перед коварством слабоумен гений.
Доверчивый герой наш выпил яд
и пошутил: — Коль огненной геенной,
любовь моя, мне приходилась явь,

так пекло ада станет мне эдемом,
там отдохну от милостей твоих.
Блаженно спи, мой рыжекудрый демон,
и мне плевать на то, в объятьях чьих.

На что я тратил драгоценный разум?
Звездой лба я бился в толщу стен:
схватилась в поединке безобразном
ты с кем-то, стены, говорите — с кем?

Тому, кто был твоим взлелеян адом,
бесхитростный потусторонний ад —
каникулы блаженства: Баден-Баден,
иль как там у богатых говорят.

...Вижу то время, в котором тебя еще нет.
О, как просторно, как пусто... Мгновение выжду...
Чу, занимается неукоснительный свет.
Вижу надежду, что вскоре тебя я увижу.

В доме бывает: всё тихо, и свечка тепла,
знает лишь ветер, что дом будет предан пожару.
Я — и свеча, и сквозняк. Я не знаю тебя.
Как же я знаю уже, что тебя обожаю?

Разве Господь, обрекая меня ремеслу
неимоверному, милостью страшной второю
мне положил — отслужив до рождения сну,
сразу увидеть тебя, как глаза я открою?

Выйдешь Офелией... станешь цветы пустоты,
плача, собирать... нет лужайки — а всё ж беспредельна...
я обожаю тебя...
Кто — Офелия? Ты?
Если Офелия — ты, кто — продажная девка?

Что я! Над девками — бедных мадонн ореол.
Девки — на хлеб, на детей, на лечение недуга.
Ты — не излишек всего, что блеснит. «Одеон»
свечи погасит — ты примешь богатого друга.

Вот твоя лучшая, вот твоя главная роль.
Мало ль тряпья у тебя — так прикрылась бы шалью!
Я — уж не плоть. Я — висящая в воздухе боль.
Я проклиная тебя.
Я тебя обожаю.

Бога я звал, чтобы музыка не умерла.
Бог мне отвечал: — Музыку я обещаю.
Ты меня звал — я слышал. Ты любишь меня?
— Кто ты такой? — я спросил. — Я ее обожаю.

II. Бал

Бал, это бал, это бала летучего благо,
бал белизны, разлетевшихся тувфелек бал,
взбалмошный бал, обольщающий баловней бала,
вальсу подвластны подвязка, подвеска и бант.

Был и блистал бал болтунный и бал балагуров,
брезжащий музыкой мозг мой тебе подражал.
Доблесть какая — быть рыжей среди белокурых!
Наглость какая — ирландством дразнить парижан!

Вальс, и напитка щекотный мороз, и трагедий
всех смехотворность. Буфетчик — умён, я — маньяк.
Я говорил: — Ты — маньяк наливанья, я — гений.
Что же мне делать, коль это действительно так?

Думал, ты спросишь: кто тот, чьи чужие перчатки
так несвежи, в чём не станем его упрекать?
Гений непризнанный? Ах, в мире столько печали... —
и не взглянула, хоть страшен мой фрак напрокат.

Бал для блаженства божеств — боль он и старость
мне причинил. Я твердил: я — маньяк, я — дурак,
ладно! но вот совершенство движения — страус,
стал же он всером бала в белейших руках.

Ба! Осенило: тапёр на балу у болванов
всяк, кого небо своим припекло сургучом.
Я обожаю тебя средь Парижских бульваров!
И только вальс, только вальс не повинен ни в чём.

Балуйся балом! Навек он тебе уготован.
Вальс будет длиться, кружась, и губя, и томя.
Дурочка! Что тебе бал? Там, где Бах и Бетховен,
Мы с тобой встретимся. Я обожаю тебя.

III. Поле

Как вернуться в обитель осин и осок?
Я устал. Я не знаю пароля.
Я — исчадье твое, твой щенок-сосунок,
дай мне млека, о мать природа.

Пропадаю без ласки целебной твоей.
Дай припасть к животворному зелью.
Стану — трав соучастник, сподвижник корней
и всего, что пробилось сквозь землю.

Я очнулся. Цветок возле глаза белел.
Млело стадо. Гусята с гусыней
шли к ручью.
Да не втиснут ли я в гобелен?
Не вишу ли я в чьей-то гостиной?

Чур меня! Нависелся! Со всеми знаком!
Вздых исторгли глубокие недра:
то природа лизала меня языком
поля, озера, леса и неба.

Шли пастух и пастушка. Свирель и рожок
толковали о том, что забыто.
Пел рожок: — Я тебя обожаю, дружок.
И свирель отвечала: — Взаимно!

Ишь, какие. И сколько румяных детей
наплодите, румяные дети.
Обожайте друг друга. От этих затей
я отрекся. Привет Генриетте!

Я целую траву. Я лежу на лугу.
Я — младенец во чреве природы.
Никому я не лгу. Никого не люблю.
Что мне музыка, страсти, пороки?

Эй, ирландка гривастая! Слышишь — в траву
я влюблен и она мне послушна!

Благо, мы в сновиденье, а не наяву,
хочешь, станем — пастух и пастушка?

Это — верное дело, я — чудный пастух.
Доказать, что средь кротких пастушек
конюх выберет лучшую из потаскух, —
вот твой первый пастуший поступок.

Лучше станем овечками. Сладок и чист
вкус травы в день закланья зловещий.
Не боишься, лукавейшая из волчиц?
Как прекрасна ты в шкуре овечьей!

Солнце... облако... радуга... Кости трещат!
За любовь мы с тобой постояли.
Будут маленьких неслухов мамки страшать
чудом нашей с тобой пасторали!

Умер, жив ли — не знаю. Мне страшно в раю.
Отпусти меня, мать природа.
Я — урод, я на детскую кротость твою
навлекаю грозу небосвода.

Не пора еще... тихо и рано... о, как
обожаю... кого? — я не помню.
Всех и вся. И слезой проплывает в зрачках
благодарность зеленому полю.

Но над полем зеленым в цветах и росе
зреет сумрак. О, только б скорее!
Я дарю вам на память о близкой грозе
детский лепет рожка и свирели.

IV. Шествие на казнь

Гнев неистовый множился, не убывал.
Ты молилась ли на ночь, не скажешь?
Я пришел, чтоб убить.

О, не так убивал
тебя трагик, намазанный сажей!

И раздался ответ из грядущих времён:
— Что мне в этих угрозах, уликах?
Когда лампы свои возжигал «Одеон»,
я молилась в предсмертных кулисах.
О, убей меня прежде, чем страшный фиакр
я покину убогой калекой,
побирушкою нищей покину театр,
став твоею женою нелепой.
Убивай, пока бредишь. О, только б успеть!
Дай мне отдыха в нетях промозглых.
Я — артистка, и мне совершенная смерть
безразличней, чем смерть на подмостках.

Я убил тебя. И приговора суда
я не слышал. Вела меня стража.
Я спросить поленился: ведёте куда?
Коль — туда, что так скушно, не страшно?
Упоительный марш меня вдаль провожал.
Было весело скрипкам и трубам.
Славно вторили им голоса горожан,
но их тембр показался мне грубым.
А когда я в помосте узнал эшафот,
я подумал: как странно, однако, —
тело дышит, пульсирует, мирно живет.
Ждет палач указания и знака.
Всё, что есть, чего нет, обращаю я в звук,
Что же даст мне мгновение это?
Мне не нужен ожог ослепительных мук.
Всё бессмысленно, что не воспето.
И раздался ответ из грядущих времён:
— Я была твоей мукой воспетой,
но и тем, кто несчастен, отвергнут и мёртв,
слабой женщиной и Генриеттой.

Умирай! Я в твореньях твоих проживу!
Звал звездой, поклонялся таланту,
будет день — ты покинешь хромую жену,

чтоб потешить ту дрянь-итальянку.
Всё мне выпадет: ревность, вино, паралич.
Ничего я воспеть не сумею.
Все мученья твои — лишь уют, парадиз
по сравнению с мукой моею.

Ты о чём, моя радость? Из рук палача
рвется жизнь, о, позор трепыханья!
Это горло — мое лишь! В нём кровь горяча.
Оно надобно мне для дыханья.
На меня с любопытством взидала толпа.
Там, где прежде душа не бывала,
я услышал себя: — Обожаю тебя!
Значит, смерть ничего не меняла.

V. Шабаш

Раз навсегда я тобой покорён.
Жить не давала и смерти мешаешь.
Звон колокольный и крики ворон.
Ты, подгуляв в честь моих похорон,
нечисть и нежить сзываешь на шабаш.
Ты среди ведьм так гола и нагла —
диву даюсь, хоть о многом наслышан.
Дразнишь: — Вот этот, с копытом нога,
мил тебе? Я с ним не буду строга.
Я отвечаю: — Хорош, да не слишком.

Есть и получше — вон славный упырь,
тешься до петухов и до света.
Значит, тебя я не вовсе убил.
Как засмеялась: — Ты разве забыл?
Я же воспета тобой и бессмертна.
Ластишься, жмешься и льнешь к упырю.
Господи, славься! На всё Твоя воля.
Ведьма, ты ведаешь участь твою?
Я уж убил тебя, снова убью,
снова казнят, и, ликуя и воя,
ты поцелуешь в зловонье клыков

оборотня и спалишь его жаром.
Невероятный удел наш таков —
делай что хочешь во веки веков.
Дай мне смотреть на тебя с обожаньем.

VI. Эпилог

Генриетта Смитсон, мадам Берлиоз. Известная актриса, с особенным успехом выступавшая в ролях шекспировских героинь. Снискала пылкую благосклонность публики. Познала неудачи, горестный упадок судьбы. Сломала ногу, выходя из фиакра. Претерпела тяжкие нравственные и физические страдания. Умерла.

Ночь. Горячая мысль не умеет угнаться за смыслом: та ирландка, чей цвет розовее, чем пламя свечи, что актёркой была и звалась Генриеттою Смитсон, кем приходится мне, чтобы ночь на нее извести?

Мало ей музыканта, она возжелала поэта.
Впрочем, что ей хвала! Всё прискучило, всё не впервой.
Ничего мне не жаль. Я тебе отслужу, Генриетта,
щедрость — муку дарить, искушать и качать головой.

Я люблю твою власть—быть красавицей, плакать, лукавить.
Принимай меня в дар, а потом прогони, разобидь.
На колени пред вечною тайной твоей! Не легка ведь
эта каторга счастья: любить, разлюбить и любить.

Совершенная женственность, чудо белейшего света,
где шалишь, чем играешь, бессмертье и славу терпя?
Ты повинна лишь в прелести. Где ты ни есть, Генриетта,
я тебе присягаю и благословляю тебя!

1977

* * *

Вот не такой, как двадцать лет назад,
а тот же день. Он мною в половине
покинут был, и сумерки на сад
тогда не пали и падут лишь ныне.

Барометр, своим умом дошед
до истины, что жарко, тем же делом
и мнением занят. И оса — дюшес
когтит и гложет ненасытным телом.

Я узнаю пейзаж и натюрморт.
И тот же некто около почтамта
до сей поры конверт не надорвет,
страшась, что весть окажется печальна.

Всё та же в море бледность пустоты.
Купальщик, тем же опаленный светом,
переступает моря и строфы
туманный край, став мокрым и воспетым.

Соединились море и пловец,
кефаль и чайка, ржавый мёд и жало.
И у меня своя здесь жертва есть:
вот след в песке — здесь девочка бежала.

Я помню — ту, имевшую в виду
писать в тетрадь до сини предрассветной.
Я медленно навстречу ей иду —
на двадцать лет красивей и предсмертной.

— Всё пишешь, — я с усмешкой говорю.
Брось, отступишь от рокового дела.
Как я жалею молодость твою.
И как нелепо ты, дитя, одета.

Как тщетно всё, чего ты ждешь теперь.
Всё будет: книги, и любовь, и слава.
Но страшен мне канун твоих потерь.
Молчи. Я знаю. Я имею право.

И ты надменна к прочим людям. Ты
не можешь знать того, что знаю ныне:
в чудовищных веригах немоты
оплачешь ты свою вину пред ними.

Беги не бед — сохранности от бед.
Страшись тщеты смертельного излишка.
Ты что-то важно говоришь в ответ,
но мне — тебя, тебе — меня не слышно.

1977

ТАРУСА

Марине Цветаевой

I

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
И тьмы подошв — такой травы не изомнут.
С откоса на Оку вы глянули когда-то:
на дне Оки лежит и смотрит изумруд.

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Давно из-под ресниц обронен изумруд.
Или у вас — ронять в Оку и в глушь оврага
есть что-то зеленей, не знаю, как зовут?

Какая зелень глаз вам свойственна, однако...
Чтобы навек вселить в пространство изумруд,
вам стоило взглянуть и отвернуться: надо
спешить, уже темно и ужинать зовут.

II

Здесь дом стоял. Столетие назад
был день: рояль в гостиной водворили,
ввели детей, открыли окна в сад,
где ныне лют ревнитель викторины.

Ты победил. Виктория — твоя.
Вот здесь был дом, где ныне танцплощадка,
площадка-танц, иль как ее... Видна
звезда небес, как бред и опечатка

в твоём дикоязычном букваре.
Ура, ты победил, недаром злился
и морщил лоб при этих — в серебре,
безумных и недремлющих из гипса.
Дом отдыха — и отдыхай, старик.
Прости меня. Ты не виновен вовсе,
что вижу я, как дом в саду стоит
и музыка витает окон возле.

III

Морская — так иди в свои моря!
Оставь меня, скитайся вольной птицей!
Умри во мне, как в мире умерла,
темно и тесно быть твоей темницей.

Мне негде быть, хоть всё это — моё.
Я узнаю твою неблагоприятность
к тому, что спёрто, замкнуто, мало.
Ты — рвущийся из душевной кожи лотос.

Ступай в моря! Но коль уйдешь с земли,
я без тебя не уцелею. Разве —
как чешуя, в которой нет змеи:
лишь стройный воздух, выющийся
в пространстве.

IV

Молчали той, зато хвалима эта.
И то сказать — иные времена:
не вняли крику, но целуют эхо,
к ней опоздав, благословив меня.

Зато, ее любившие, безглицы
ко мне чернила, и тетрадь гола.
Рак на безрыбье или на безглице
пригорок — вот вам рыба и гора.

Людской хвале внимая, разум слепнет.
Пред той потупясь, коротаю дни
и слышу вдруг: не осуждай за лепет
живых людей — ты хуже, чем они.

Коль нужно им, возглыбься над низиной
их бедных бед, а рыба немота
не есть ли крик, неслышимый, но зримый,
оранжево запекшийся у рта.

V

Растает снег. Я в зоопарк схожу.
С почтением и холодком по коже
увиджу льва и: — Это лев! — скажу.
Словечко и предметище не схожи.

А той со львами только веселей!
Ей незачем заискивать при встрече
с тем, о котором вымолвит: — Се лев. —
Какая львиность норова и речи!

Я целовала крутолобье волн,
просила море: — Притворись водою!
Страшусь тебя, словно изгнали вон
в зыбь вечности с невнятной звездой.

Та любит твердь за тернии пути,
пыланью брызг предпочитает пыльность
и скажет: — Прочь! Мне надобно пройти. —
И вот проходит — море расступилось.

VI

Как знать, вдруг — мало, а не много:
невхожести в уют, в приют
такой, что даже и острога
столь бесприютным не дают;

мгновения: завидев Блока,
гордыней скул порозоветь,
как больно смотрит он, как блекло,
огромную приемля весть
из детской ручки;

ручки этой,
в страданье о которой спишь,

безумием твоим одетой
в рассеянные грёзы спиц;

расчета: властью никакою
немыслимо пресечь твою
гортань и можно лишь рукою

твоею, —
мало, говорю,
всего, чтоб заплатить за чудный
снег, осыпавший дом Трёхпрудный,
и пруд, и труд коньков нетрудный,
а гений глаза изумрудный
всё знал и всё имел в виду.

Две барышни, слетев из детской
светёлки, шли на мост Кузнецкий
с копейкой удалой купецкой:
Сочельник, нужно наконец-то
для ёлки приобрести звезду.

Влекла их толчея людская,
пред строгим Пушкиным сникая,
от Елисеева таская
кульки и свёртки, вся Тверская —
в мигании, во мгле, в огне.

Всё время важно и вельможно
шёл снег, себя даря и множа.
Сережа, поздно же, темно же!
Раз так пройти, а дальше — можно
стать прахом неизвестно где.

1977—1979

ПУТЕШЕСТВИЕ

Человек, засыпая, из мглы выкликает звезду,
ту, которую он почему-то считает своею,
и пеняет звезде: «Воз житья я на кручу везу.
Выдох лёгких таков, что отвергнут голодной свирелью.

Я твой дар раздарил, и не ведает книга моя,
что брезгливей, чем я, не подыщет себе рецензента.
Дай отпраздновать праздность. Сошли на курорт забытья.
Дай уста отомкнуть не для пенья, а для ротовейства».

Человек засыпает. Часы возвещают отбой.
Свой снотворный привет посылает страдальцу аптека.
А звезда, воссияв, причиняет лишь совесть и боль,
и лишь в этом ее неусыпная власть и опека.

Между тем это — ложь и притворство влюбленной звезды.
Каждый волен узнать, что звезде он известен и жалок.
И доносится шелест: «Ты просишь? Ты хочешь? Возьми!»
Человек просыпается. Бодро встает. Уезжает.

Он предвидел и видит, что замки увиты плющом.
Еще рань и февраль, а природа цвести притерпелась.
Обнаженным зрачком и продутым навывлет плечом
знаменитых каналов он сносит промозглую прелесть.

Завсегдатай соборов и мраморных хладных пустынь,
он продрог до костей, беззащитный, как все иноземцы.
Может, после он скажет, какую он тайну постиг,
в благородных руинах себе раздобыв инфлюэнцы.

Чем южнее его бег, тем мимоза темней и лысей.
Там, где берег и лазурь непомерны, как бред и бравада,
человек опечален, он вспомнил свой старый лицей,
ибо вот где лежит уроженец Тверского бульвара.

Сколько мук, и еще этот юг, где уместнее пляж,
чем загробье. Прощай. Что растет из гранитных расселин?
Сторож долго решает: откуда же вывез свой плач
посетитель кладбища? Глициния — имя растений.

Путник следует дальше. Собак разноцветные лбы
он целует, их слух повергая в восторженный ужас
тем, что есть его речь, содержание и образ судьбы,
так же просто, как свет для свечи — и занятие, и сущность.

Человек замечает, что взор его слишком велик,
будто есть в нем такой, от него не зависящий, опыт:
если глянет сильнее — невинную жизнь опалит,
и на розовом лице останется шрам или копоть.

Раз он видел и думал: неужто столетья подряд,
чуть меняясь в чертах, процветает вот это семейство? —
и рукою махнул, обрывая ладонью свой взгляд
(благоденствуйте, дескать), — хоть вовремя, но неуместно.

Так он вчуже глядит и себя застигает врасплох
на громоздкой печали в кафе под шатром полосатым.
Это так же удобно, как если бы чертополох
вдруг пожаловал в гости и заполонил палисадник.

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,
он берет эту ранку на память. Прощай, мимолетность.
Вот он дома достиг и, при сильной усмешке звезды,
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.

Что еще? В магазине он слушает говор старух.
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

1977

РОЗА

Александру Кушнеру

Вид рынка в Гагре душу веселит.
На злато дыни медный грош промотан.
Не есть ли я ленивый властелин,
чей взор пресыщен пурпуром и мёдом?

Вдыхает нега, бодрствует расчет,
лоснится благоденствие Кавказа.
Торговли огнедышащий зрачок
разнежен сном и узок от коварства.

Где, визирь мой, цветочные ряды?
С пристрастьем станем выбирать наложниц.
Хвалю твои беспечные труды,
владелец сада и садовых ножниц.

Знай, я полушки ломаной не дам
за бледность черт, чья быстротечна участь.
Я красоту люблю, как всякий дар,
за прочный позвоночник, за живучесть.

Я алчно озираюсь. Наконец,
как старый царь — невольницу младую,
влеку я розу в бедный мой дворец
и на свои седины негодную.

Эй вы, плавней, кто тянет паланкин!
Моих два локтя понукаю, то есть —
хранить ее, пока меж половин
всего, что в нём, расплющил нас автобус.

В беспамятстве, в росе еще живой,
спи, жизнь моя, твой обморок не вечен.
Как соразмерно мощный стебель твой
прелестно малой головой увенчан.

Уф, отдышусь. Вот дом, в чей бок тавро
впечатано: «Дом творчества». Как просто!
Есть дом у нас, чтоб сотворить твое
бессмертие на белом свете, роза!

Пока юлит перед тобой глагол,
твой гений сразу обретает навык
дышать водой, опередив глоток
сестёр своих — прислужниц и чернавок.

Прости, дитя, что, из родимых кущ
изъяв тебя, томлю тебя беседой.
Лишь для того мой разум всемогущ,
чтоб стала ты пусть мертвой, но воспетой.

Что розе этот вздор? Уныл и дряхл
хваленый ум, и всяк эпитет скуден.
Он бесполезней и скучнее драхм
ее красе, что занята искусством

растеньем быть, а не предметом для
хвалы моей. О, как светает грозно.
Я говорю при первом свете дня:
— Как ты прекрасна, розовая роза!

Та роза ныне — слабый призрак, вздох.
Но у нее заступник есть в природе.
Как беспощадно он взимает долг
с немой души, робеющей при розе.

1977

ПАМЯТИ ГЕНРИХА НЕЙГАУЗА

Что — музыка? Зачем? Я — не искатель муки.
Я всё нашла уже и всё превозмогла.
Но быть живой невмочь при этом лишнем звуке,
о мука мук моих, о музыка моя.

Излишек музык — две. Мне — и одной довольно,
той, для какой пришла, была и умерла.
Но всё это — одно. Как много и как больно.
Чужая — и не тронь, о музыка моя.

Что нужно остриям органа? При органе
я знала, что распят, кто, говорят, распят.
О музыка, вся жизнь — с тобою пререканье,
и в этом смысл двойной моих услад-расплат.

Единожды жила — и дважды быть убитой?
Мне, впрочем, — впору. Жизнь так сладостно мала.
Меж музыкой и мной был музыкант любимый.
Ты — лишь затем моя, о музыка моя.

Нет, ты есть он, а он — тебя предрекший рокот,
Он проводил ко мне всё то, что ты рекла.
Как папоротник тих, как проповедник кроток
и — краткий острый свет, опасный для зрачка.

Увидела: лицо и бархат цвета... цвета? —
зеленого, слабей, чем блеск и изумруд:
как тина или мох. И лишь при том здесь это,
что совершенен он, как склон, как холм, как пруд —

столь тихие вблизи громокипящей распри.
Не мне ее прощать: мне та земля мила,
где Гете, Рейн, и он, и музыка — прекрасны,
Германия моя, гармония моя.

Вид музыки так прост: он схож с его улыбкой.
Еще там были: шум, бокалы, торжество,
тот ученик его прельстительно великий,
и я — какой ни есть, но ученик его.

1977

ПЕРЕДЕЛКИНО ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Станиславу Нейгаузу

Темнела долгая загадка,
и вот сейчас блеснет ответ.
Смотрю на купол в час заката,
и в небо ясный ход отверст.

Бессмертная душа надменна,
а то, что временный оплот
души, желает жить немедля,
но это место узнает.

Какая связь меж ним и телом,
не догадаться мудрено.
Вдали, внизу, за полем белым
о том же говорит окно.

Всё праведней, всё беззащитней
жизнь света в доблестном окне.
То — мне привет сквозь мглу, сквозь иней,
укор и предсказанье мне.

Простительнее слёз и слова,
слышнее изъявления уст
свет из окна. Но я — готова,
и я пред ним не провинюсь.

Ни я не замараюсь славой,
ни поле, где течет ручей,
не вздумает очнуться свалкой
ненужных и чужих вещей.

1977

ПИСЬМО БУЛАТУ ИЗ КАЛИФОРНИИ

Что в Калифорнии, Булат, —
не знаю. Знаю, что прелестный,
просторный край. В природе летней
похолодает, говорят.

Пока — не холодно. Блестит
простор воды, идущий зною.
Над розой, что отрадно взору,
колибри пристально висит.

Ну, вот и всё. Пригож и юн
народ. Июль вступает в розы.

А я же «Вестником Европы»
свой вялый развлекаю ум.

Всё знаю я про пятый год
столетия прошлого: раздоры,
открытья, пререканья, вздоры
и что потом произойдет.

Откуда «Вестник»? Дин, мой друг,
славист, профессор, знаний светоч,
вполне и трогательно сведущ
в словесности, чей вкус и звук
нигде тебя, нигде меня
не отпускает из полона.

Крепчает дух Наполеона.
Графиня Некто умерла,

до крайних лет судьбы дойдя.
Все пишут: кто стихи, кто прозу.
А тот, кто нам мороз и розу
преподнесет, — еще дитя
безвестное, но не вполне:
он — знаменитого поэта
племянник, стало быть, родне

известен. Дальше — буря, мгла.
Булат, ты не горюй, всё вроде
о'кей. Но «Вестником Европы»
зачитываться я могла,
могла бы там, где ты и я
брели вдоль пруда Химок возле.
Колибри зорко видит в розе
насущенный смысл житья-бытья.
Меж тем Тому — уже шесть лет!
Еще что в мире так же дивно?
Всё это удивляет Дина.
Засим прощай, Булат, мой свет.

1977

ШУТОЧНОЕ ПОСЛАНИЕ К ДРУГУ

Покуда жилкой голубою
безумья орошён висок,
Булат, возьми меня с собою,
люблю твой лёгонький возок.

Ямщик! Я, что ли, — завсегдатая
саней? Скорей! Пора домой,
в былое. О Булат, солдатик,
родимый, неубитый мой.

А остальное — обойдётся,
приложится, как ты сказал.
Вот зал, и вальс из окон льется.
Вот бал, а нас никто не звал.

А всё ж — войдем. Там, у колонны...
так смугл и бледен... Сей любви
не перенести! То — Он. Да Он ли?
Не надо знать, и не гляди.

Зачем дано? Зачем мы вхожи
в красу чужбин, в чужие дни?
Булат, везде одно и то же.
Булат, садись! Ямщик, гони!

Как снег летит! Как снегу много!
Как мною ты любим, мой брат!
Какая долгая дорога
из Петербурга в Ленинград.

1977

ЛЕНИНГРАД

Опять дана глазам награда Ленинграда...
Когда сверкает шпиль, он причиняет боль.
Вы неразлучны с ним, вы — остріё и рана,
и здесь всегда твоя второстепенна роль.

Зрачок пронзён насквозь, но зрение на убыль
покуда не идет, и по причине той,
что для него всегда целебен круглый купол,
спасительно простой и скромно золотой.

Невинный Летний сад обрѣк себя на иней,
но сей изыск списать не предстоит перу.
Осталось, к небесам закинув лоб наивный,
решать: зачем душа потворствует Петру?

Не всадник и не конь, удержанный на месте
всевластною рукой, не слава и не смерть —
их общий стройный жест, изваянный из меди,
влияет на тебя, плоть обращающая в медь.

Всяк царь мне дик и чужд. Знать не хочу! И всё же
мне не подсудна власть — уставить в землю перст,
и причинить земле колонн и шпилей всходы,
и предрешить того, кто должен их воспеть.

Из Африки изъять и приручить арапа,
привить ожог чужбин Опочке и Твери —
смысл до поры сокрыт, в уме — темно и рано,
но зреет близкий ямб в неграмотной крови...

Так некто размышлял... Однако в Ленинграде
какой февраль стоит, как весело смотреть:
всё правильно окрест, как в пушкинской тетради,
раз навсегда, впопад и только так, как есть!

1978

* * *

Не добела раскалена,
и все-таки уже белеет
ночь над Невой.
Ум болеет
тоской и негой молодой.
Когда о купол золотой
луч разобьется предрассветный
и лето входит в Летний сад,
каких наград, каких услад
иных
просить у жизни этой?

1978

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА

Всё б глаз не отрывать от города Петрова,
гармонию читать во всех его чертах
и думать: вот гранит, а дышит, как природа...
Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.

Былая жизнь моя — предгорье сих ступеней.
Как улица стара, где жили повара.
Развязно юн пред ней пригожий дом столетний.
Светает, а луна трудов не прервала.

Как велика луна вблизи окна. Мы сами
затеяли жильё вблизи небесных недр.
Попробуем продлить привал судьбы в мансарде:
ведь выше — только глушь, где нас с тобою нет.

Плеск вечности в ночи подтачивает стены
и зарится на миг, где рядом ты и я.
Какая даль видна! И коль взглянуть острее,
возможно различить границу бытия.

Вселенная в окне — букварь для грамотея,
читаю по складам и не хочу прочесть.
Объятую зарей, дымами и метелью,
как я люблю Москву, покуда время есть.

И давешняя мысль — не больше безрассудства.
Светает на глазах, всё шире, всё быстрее.
Уже совсем светло. Но, позабыв проснуться,
простёр Тверской бульвар цепочку фонарей.

1978

* * *

Петра там нет. Не эту же великость
дымов и лязгов он держал в уме.
И хочется скорей покинуть Липецк,
хоть жаль холма и дома на холме.

Оттуда вид печальнее и шире
на местность и на помысел о том,
как, смиренного уезда на вершине,
быльём своим был обитаем дом.

Вцепился охранительный малинник
в нескромный взор, которым мещанин
смотрел на окна: сколько ж именинник
гостей созвал и света учинил.

Здесь ныне процветает учреждение.
И, в сумерках смущая секретарш,
зачем, — не понимает привиденье
план составлять и штаты сокращать?

Мы — верхогляды и не обессудим
чужую жизнь, где мы не ко двору,
но ревность придирается, что скуден
столп, посвященный городом Петру.

ТИФЛИС

Отару и Томазу Чиладзе

Как любила я жизнь! — О любимая, длись! —
я вослед Тициану твердила.
Я такая живучая, старый Тифлис,
твое сердце во мне невредимо.

Как мацонщик, чей ослик любим, как никто,
возвещаю восход и мацони.
Коль кинто не придет, я приду, как кинто,
веселить вас, гуляки и сони.

Ничего мне не жалко для ваших усад.
Я — любовь ваша, слухи и басни.
Я нырну в огнедышащий маленький ад
за стихом, как за хлебом — хабази.

Жил во мне соловей, всё о вас он звенел,
и не то ль меня сблизило с вами,
что на вас я взирала глазами зверей
той породы, что знал Пиросмани.

Без Тифлиса жила, по Тифлису томясь.
Есть такие края неужели,
где бы я преминула, Отар и Тамаз,
вспомнить вас, чтоб глаза повлажнели?

А когда остановит дыханье и речь
та, последняя в жизни превратность,
я успею подумать: позволь умереть
за тебя, мой Тифлис, моя радость!

1978

* * *

Мне Тифлис горбатый снится...

Осип Мандельштам

То снился он тебе, а ныне ты — ему.
И жизнь твоя теперь — Тифлиса сновиденье.
Поскольку город сей непостижим уму,
он нам при жизни дан в посмертные владенья.

К нам родина щедра, чтоб голос отдыхал,
когда поет о ней. Перед дорогой дальней
нам всё же дан привал, когда войдем в духан,
где чем душа светлей, тем пение печальней.

Клянусь тебе своей склонённой головой
и воздухом, что весь — душа Галактиона,
что город над Курой — всё милосердней твой,
ты в нём не меньше есть, чем был во время оно.

Чем наш декабрь белей, когда роняет снег,
тем там платан красней, когда роняет листья.
Пусть краткому «теперь» был тесен белый свет,
пространному «потом» — достаточно Тифлиса.

ГАГРА: КАФЕ «РИЦА»

Фазилу Искандеру

Как будто сон тягучий и огромный,
клубится день огромный и тягучий.
Пугаясь роста и красоты магнолий,
в нём кто-то плачет над кофейной гущей.

Он ослабел — не отогнать осу вот,
над вещей гущей нависает если.
Он то ли болен, то ли так тоскует,
что терпит боль, не меньшую болезни.

Нисходит сумрак. Созревают громы.
Страшусь узнать: что эта гуща знает?
О, горе мне, магнолии и горы.
О море, впрямь ли смысл твой лучезарен?

Я — мертвый гость беспечности курортной:
пусть пьет вино, лоснится и хохочет.
Где жизнь моя? Вот блеск ее короткий
за мыс заходит, навсегда заходит.

Как тяжек день — но он не повторится.
Брег каменный, мы вместе каменеем.
На набережной в заведение «Рица»
я юношам кажусь Хемингуэем.

Идут ловцы стаканов и тарелок.
Печаль моя относится не к ним ли?
Неужто всё — для этих, загорелых
и ни одной не прочитавших книги?

Я упасу их от моей печали,
от грамоты моей высокопарной.
Пуškai всегда толпятся на причале,
вблизи прибоя — с ленью и опаской.

О Море-Небо! Ниспошли им легкость.
Дай мне беды, а им — добра и чуда.
Так расточает жизни мимолетность
тот человек, который — я покуда.

1979

* * *

Пришелец, этих мест название: курорт.
Пляж озабочен тем, чтоб стал ты позолочен.
Страдалец, извлеки из северных корост
всей бледности твоей озябший позвоночник.

Магнолий белый огонь в честь возожжен твою.
Ты нищ — возьми себе плодов и роз излишек.
Власть моря велика — и всякую вину
оно простит тебе и боль ума залижет.

Уж ты влюблен в балкон — в цветах лиловых весь.
Балкон средь облаков висит и весь в лиловом.
Не знаю кто, но есть тебе пославший весть
об упоенье уст лилово-винным словом.

Счастливец вновь спешит страданья раздобыть.
В избытке райских куц он хочет быть в убытке.
Придрался вот к чему и вот чего забыть
не хочет, говорит: я здесь — а где убыхи?

Нет, вовсе не курорт название этих мест.
Край этот милосерд, но я в нём только странник.
Гость родины чужой, о горе мне, я — есмь,
но нет убыхов здесь и мёртв язык-изгнанник.

К Аллаху ли взывать, иль Боже говорить,
иль Гмерто восклицать — всё верный способ зова.
Прошу: не одаряй. Ненадобно дарить.
У всех не отними ни родины, ни слова.

1979

Сухуми

* * *

Как холодно в Эшери и как строго.
На пир дождя не звал нас небосвод.
Нет никого. Лишь бодрствует дорога
влекомых морем хладных горных вод.

Вино не приглашает к утешенью
условному. Ум раны трезв и наг.
Ущелье ныне мрачно. Как ущелью
пристало быть. И остается нам

случайную пустыню ресторана
принять за совершенство пустоты.
И, в сущности, как мало расстоянья
Меж тем и этим. Милый друг, прости.

Как дней грядущих призрачный историк
смотрю на жизнь, где вместе ты и я,
где сир и дик средь мирозданья столик,
накрытый на краю небытия.

Нет никого в ущелье... Лишь ущелье,
где звук воды велик, как звук судьбы.
Ах нет, мой друг, то просто дождь в Эшери.
Так я солгу — и ты мне так солги.

БАБОЧКА

Антонине Чернышёвой

День октября шестнадцатый столь тёпел,
жара в окне так пристально желта,
что бабочка, усопшая меж стекол,
смерть прервала для краткого житья.

Не страшно ли, не скушно ли? Не зря ли
очнулась ты от участи сестер,
жаднейшая до бренных лакомств яви
среди прочих шоколадниц и сладён?

Из мертвой хватки, из загробной дрёмы
ты рвешься так, что слух острее будь,
пришлось бы мне, как на аэродроме,
глаза прикрыть и голову пригнуть.

Перстам неотпускающим, незримым
отдав щепотку боли и пыльцы,
пари, предавшись помыслам орлиным,
сверкай и нежься, гибни и прости.

Умру иль нет, но прежде изнурю я
свечу и лоб: пусть выдумают — как
благословлю я хищность жизнелюбья
с добычей жизни в меркнувших зрачках.

Пора! В окне горит огонь-затворник.
Усугубилась складка меж бровей.
Пишу: октябрь, шестнадцатое, вторник —
и Воскресенье бабочки моей.

1979

* * *

Илье Дадашидзе

Смеркается в пятом часу, а к пяти
уж смерклося. Что сладостней поздних
шатаний, стояний, скитаний в пути
не так ли, мой пёс и мой посох?

Трава и сугробы, октябрь, но февраль.
Тьму выбрав, как свет и идею,
не хочет свободный и дикий фонарь
служить эдисонову делу.

Я предана этим бессветным местам,
безлюдью их и безлунью,
науськавшим гнаться за мной по пятам
позёмку, как свору борзую.

Полога дорога, но есть перевал
меж скромным подъемом и спуском.
Отсюда я вижу, как волен и ал
огонь в обителище узком.

Терзаясь значением окна и огня,
всяк путник умерит здесь поступь,
здесь всадник ночной придержал бы коня,
здесь медлят мой пёс и мой посох.

Ответствуйте, верные поводыри:
за склоном и за поворотом
что там за сияющий замок вдали,
и если не замок, то что там?

Зачем этот пламень так смел и велик?
Чьи падают слёзы и пряди?
Какой же избранник ее и должник
в пленительном пекле багряном?

Кто ей из веков отвечает кивком?
Чьим латам, седидам и ранам
не жаль и не мало пропасть мотыльком
в пленительном пекле багряном?

Ведуний там иль чернокнижников пост?
Иль пьется богам и богиням?
Ужайший мой круг, мой посох и пёс,
рванемся туда и погибнем.

Я вижу, вам путь этот странный знаком,
во мгле, что горит неусыпно?
— То лампа твоя под твоим же платком,
под красным, — ответила свита.

Там, значит, никто не колдует, не пьет?
Но вот, что страшней и смешнее:
отчасти мы все, мои посох и пёс,
той лампы моей измышление.

И это в селенье, где нет поселян, —
спасенье, мой пёс и мой посох.
А кто нам спасительный свет посылал —
неважно. Спасибо, что послан.

Октябрь — ноябрь 1979
Переделкино

* * *

Мы начали вместе: рабочие, я и зима.
Рабочих свезли, чтобы строить гараж с кабинетом
соседу. Из них мне знакомы Матвей и Кузьма
И Павел-меньшой, окруженные кордебалетом.

Окно, под каким я сижу для затеи моей,
выходит в их шум, порицающий силу раствора.
Прошло без помех увядание рощ и полей,
листва поредела, и стало светло и просторно.

Зима поспешала. Холодный сентябрь иссякал.
Затея томила и не давалась мне что-то.
Коль кончилось курево или вдруг нужен стакан,
ко мне отражали за прибылью Павла-меньшого.

Спрошу: — Как дела? — Засмеется: — Как сажа бела.
То нет кирпича, то застряла машина с цементом.
— Вот-вот, — говорю, — и мои таковы же дела.
Утешимся, Павел, печальным напитком целебным.

Октябрь наступил. Стало Пушкина больше вокруг,
верней, только он и остался в уме и природе.
Пока у зимы не валилась работа из рук,
Матвей и Кузьма на моём появлялись пороге.

— Ну что? — говорят. Говорю: — Для затеи пустой,
наверно, живу. — Ничего, — говорят, — не печалься.
Ты видишь в окно: и у нас то и дело простой.
Тебе веселей: без зарплаты, а всё ж — без начальства...

Нежданно-негаданно — невидаль: зной в октябре.
Кирпич и цемент обрели наконец-то единство.
Все травы и твари разнежились в чудном тепле,
в саду толчая: кто расцвел, кто воскрес, кто родился.

У друга какого, у юга неужто займы
наш север выпрашивал блики, и блестки, и тени?
Меня ободряла промашка неловкой зимы,
не боле меня преуспевшей в заветной затее.

Сияет и греет, но рано сгущается темь,
и тотчас же стройка уходит, забыв о постройке.
Как, Пушкин, мне быть в октябре девятнадцатый день?
Смеркается — к смерти. А где же друзья, где восторги?

И век мой жесточе, и дар мой совсем никакой.
Всё кофе варю и сию, пригорюнясь на кухне.
Вдруг — что-то живое ползет меж щекой и рукой.
Слезу не узнала. Давай посвятим ее Кюхле.

Зима отслужила безумье каникул своих
и за ночь такие хоромы воздвигла, что диво.
Уж некуда выше, а снег всё валил и валил.
Как строят — не видно, окно — непроглядная льдина.

Мы начали вместе. Зима завершила труды.
Стекло поскребла: ну и ну, с новосельем соседа!
Прилажена крыша, и дым произрос из трубы.
А я всё сию, всё гляжу на падение снега.

Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.
— Прощай, — говорят. — Мы-то знаем тебя не по книжкам.
А всё же для смеха стишок и про нас напиши.
Ты нам не чужая — такая простая, что слишком...

Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,
заснеженных этих равнин и дорог обитатель.
За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,
еще и за то, что не ты моих книжек читатель.

Уходят. Сказали: — К Ноябрьским уж точно сдадим.
Соседу втолкуй: всё же праздник, пусть будет попроще... —
Ноябрь на дворе. И горит мой огонь-нелюдим.
Без шума соседнего в комнате тихо, как в роще.

А что же затея? И в чём ее тайная связь
с окном, возлюбившим строительства скромную новость?

Не знаю.
Как Пушкину нынче луна удалась!
На славу мутна и огромна, к морозу, должно быть!

1979

ПРОЗА

МИГ ЕГО ЗРЕНИЯ

Четыре года, между 1837-м и 1841-м... За этот срок юноша, проживший двадцать три года, должен во что бы то ни стадо прожить большую часть своей жизни — до ее предела и до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы ее достигнуть... И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого стоит. Так, в любимой им легенде путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и муки, и еще неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдется.

Ему удастся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену — «за одну, но только полную тревог...»

Итак: «Погиб поэт...»

Я знаю, это несправедливое пристрастие — начинать счёт с этого момента, с этой строки, но для меня отсюда именно начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему.

Я до сих пор — а прошло сто лет и еще столько, сколько исполнилось мне в этом году, — не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одним порывом написанная часть, потом — зачёркнуто, зачёркнуто, это где надо описать убийцу.

Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нём так, как будто убиваешь. А рука — нетверда от боли. Потом — устал. Нарисовал профиль справа и внизу. Потом — ясно, сразу написано: «Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!..» Ну да. поднимал!..» Ну да. Ведь это так ужасно: погиб, всё кончено, но еще, если представить себе, каким образом дурное, малое ничто поднимает руку — на что? На всё лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделать.

... В садах выхожу я из этого чтения. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, — при его-то таланте протянуть руку и о пустой воздух порезаться, как об острière. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности — «и верится, и плачется, и так легко, легко...» О, знаю я эту лёгкость: всё быстрее, быстрее бег его нервов, всё уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце, и эта оговорка: «Но не тем холодным сном могилы...»

И еще очень люблю я в нём небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!» Это — как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захворает перевозбуждением от того, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдешь невольно на неясный зов какой-то бездны. И увидишь: долгое здание, приведённое в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом опечалишься и отдохнёшь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не надолго, и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский монастырь, где по ночам так

ярко белеют маленький памятник и звёзды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеей твоей крови и нежностью памяти, то живо и впрямь. Это ничему не помогает. И всё же я не добралась еще до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы еще развалины монастыря и скорбная тень молодого монаха все хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве Арагва и Кура сближаются, словно для поцелуя, возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь и видел всё это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его зренья, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращен сюда всевластным усилием любви. Там я и оставила его — он стоит там обласканный южным небом, но хочет вернуться на север, туда, куда ему нельзя не вернуться.

1964

ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ...

Когда начинаются в тебе два этих имени, и не любовь даже, а всё, всё — наибольшая обширность переживания, которую лишь они в тебе вызывают?

Может быть, слишком рано, еще в замкнутом и глубочайшем уюте твоего до-рождения на этой земле, она уже склоняется и обрекает тебя к чему-то, и объединяет эти имена со своим именем в неразборчивом вздохе, предreshающем твою жизнь.

Но что я знаю об этом? Сначала — ничего. Потом — просняется и темнеет зрачок, и в долгом прекрасном беспорядке младенческого беспамятства обозначается тяжелое качание ромашек где-то под Москвой, появляются другие огромные пустяки, и на всём этом — приторно-золотой отсвет первого детского блаженства. Потом, ни с того ни с сего, в Ильинском сквере, — слабый, голубоватый цвет мальчика, тяжело перенесшего корь, остро-худого, как малое стёклышко. Он умудрён и возвышен болезнью, и мы долго с важностью ходим, взявшись за руки. Из одной ладони в другую легонько падает вздох живой кожи, малость какая-то, которой тесно, — его последняя крапинка кори. Сквозь корь я с неприязнью различаю, что взрослых отвлекает от меня какая-то плохая забота, являются новые запахи и звук, чьей безнадежной протяженности тогда я не оценила. Наконец куда-то везут, и в ярком пробеле вагонной двери я вижу небо, корот-

кую зелень травы, коров и в последний раз понимаю, что всё — прекрасно.

Потом — в темноте эвакуации, в чужом доме, бормочут над моим полусном большие бабушкины губы. Давно уже, в крошечном «всегда», прожитом к тому времени, висят надо мной по вечерам два этих бормотания, слух помнит порядок звуков в них, но только тогда, внезапно, я узнаю в звуках слова, а в словах — предметы мира, уже ведомые мне.

— Буря мглою небо кроет... — и вдруг такая беспросветная тоска, такая боль неуюта и одиночества, беспечного сознания защищенности и в помине нет, а бабушка, которой прежде всегда доставало для блаженства, — что она может поделать с великой непогодой над миром?

Потом наступает довольно долгий отдых какого-то безразличия. Бешеной детской памятью ты мгновенно усваиваешь даты и строки, связанные с этими двумя именами, смело бубнишь: «Великий русский поэт родился...», и всё это придает тебе какой-то свободы и независимости от них. Во всяком случае так это было со мной. И только много позже ты обращаешься к ним всей энергией своего существа, и это уже навсегда. Потому много позже, что, кажется, человек дважды существует в полном объёме своего характера — в раннем детстве и в зрелости.

И вот приходит пора, когда ни о чём другом и думать не можешь, словно разгадываешь тайну. Единым страданием прочитываешь всё сначала, но что-то еще остается неясным. Все исследования, все сторонние мнения вызывают вдруг ревность и раздражение: в тебе есть уже непослушание истине, самостоятельность любви, в далеко стоящей личности великого человека ты различаешь еще нечто — малое, живое, родимое, предназначенное только тебе.

Тобой овладевает беспокойная корысть собственного поиска, ты хочешь сам, воочию, убедиться, принять на себя ту, уже неживую, жизнь.

...В Царскосельском парке, на повороте аллеи, я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, вытесненный полтора века назад бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. С ним здесь нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след — лукавый и быстрый, как улыбка. Он так осенил и насытил собой эти деревья, небеса и воды, статуи, разумно белеющие среди зелени, что всё это не выдержало вдруг избытка его имени и радостно выдохнуло его мне в затылок. И вдруг, в радостном помрачении рассудка, сместившем время, я засмеялась: Слава Богу! Один еще бегаёт здесь, пробивая прочную зелень крепкой смуглостью детского лба, тот, другой, верно, и не родился пока! Какое редкостное благополучие в мире!

...В ту ночь в Михайловском тишина и темнота, обострившиеся перед грозой, помогали мне догнать его тень, и близко уже было, но вдруг быстрый, резкий всплеск многих голосов заплакал над головой — это цапли, живущие высоко над прудом, испугались бесшумного бега внизу. И я одна пошла к дому. Бедный милый дом. Бедный милый дом — столько раз исчезающий, убитый грубостью невежд и снова рождённый детской любовью людей к его хозяину. Из него можно выйти на крыльцо, сверху глядящее на реку. Но лучше не выходить и не видеть того, что видно. Потому что река, скромно сияющая в просвете деревьев, и простые поля за рекой, не остановленные никаким пределом, расположены там таким образом, что лёгкие вдыхают вдруг боль и нет такого «ах», чтобы ее выдохнуть. Это есть твоя земля, но в таком чрезмерном средоточии, в такой высокой степени наглядности, что для одного мгновения твоей жизни это невыносимо много.

Но дом был тёмный и пуст. Где же его хозяин? В Тригорском, конечно!

Учёный и добрый человек разгадал мою чудную тоску и ничего не стал запрещать мне в ту ночь. Я взяла подсвечник, который был старше меня на двести лет, но прочнее и новее меня, засверкал он тремя свечами. Я вошла одна в этот длинный, под фабрику строенный дом, более всех домов в мире населённый ревностью, любовью и тоской, — всё здесь обожжено и заплакано им. Медленно, медленно моих губ коснулся сумрак той осени — минута в минуту сто сорок лет назад. И тогда, остановив меня на пороге гостиной, маленьким нежным рыданием заиграл золотой голосок. Я не испугалась! Я знала эту игрушку — бессмертная птичка в клетке, умеющая открывать жалобно поющий металлический клюв. Как тосковал тот, кто завёл ее ночью и слушал один! А как затоскует он зимой! Буря мглою... нет сил.

Что же, он был там? Конечно. А я его видела? Нет, я осторожно пошла прочь. Если очень любишь свою тайну, я думаю — не надо заставлять врасплох ее целомудрие и доводить ее до очевидности.

Ну, а тот, другой, ради которого я вспоминаю всё это и не называю, берегу в тишине второе и тоже единственное имя — долгое, прохладное, сложное на вкус, как влага, которой никто не пил? С ним пока всё еще не так плохо, но и радоваться нечему: ему минуло уже десять лет, а он рано узнает печаль.

Однако, как летит время, особенно если ты, случайной кривизной памяти, попал в прошлый век.

И вот я в квартире на Мойке, столько раз реставрированной и всё же хорошо сохранившей выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивают лица к стандам, и оттого все кажутся длинноносы и трогательно нехороши собой.

Учёная женщина-экскурсовод самоуверенным голодом перечисляет долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Еще немного — и она, пожалуй, договорится до его трагической гибели. Но мне невольно это слушать, и я бегу от того, что принадлежит ей, к тому, что принадлежит мне.

Если он так жив во мне, может быть, есть какая-нибудь надежда. Но я смотрю в стекло, под которым... Нет никакой надежды. Там, под стеклом, помещён небольшой кусок черной материи, приведенной портным к изящному и тонкому силуэту. Это — жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер так вдруг поразила, потряс, разжалобил меня, и вся живая прочность моего тела бросилась на защиту той родимой, горячей, беззащитной худобы. Но давно уже было позади, и слезы жалости и недоумения помешали мне смотреть, — неся их тяжесть в глазах и на лице, я вышла на улицу.

Что осталось мне теперь?

О, еще много — четыре с лишним года от этого января и до того июля. Пока неизвестно, что будет потом. Только едва ощутимый холодок недоброго предчувствия, как тогда, вернее — как потом, в моём детстве, в эвакуации.

Эти четыре года, между 1837 и 1841, — самый большой промежуток времени из всех, мне известных. За этот срок юноша, проживший двадцать два года, должен во что бы то ни стало прожить большую часть своей жизни — до ее предела, до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы ее достигнуть. Но этому юноше она нужна немедленно — он остался один на один с обстоятельствами великой поэзии, и они вынуждают его к мгновенному подвигу многолетнего возмужания. Разумеется, это естественная, единственно возможная судьба его, а не преднамеренное усилие воли.

И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого стоит. Так, в любимой им легенде путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и муки, и еще неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдется.

Ему удастся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену — «за одну, но только полную тревог».

Итак: «Погиб поэт...»

Я знаю, это мое, несправедливое пристрастие — начинать счёт с этого момента, с этой строки, но для меня — отсюда именно начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему. Я поздно спохватилась: остается лишь четыре года.

Я до сих пор — а прошло сто лет и еще столько, сколько исполнилось мне в этом году, — не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одной быстрой мукой, одним порывом почерка написанная часть, потом — зачёркнуто, зачёркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нём. А рука — нетверда от боли. Потом — устал. Нарисовал профиль справа и вниз. Потом — ясно, сразу написано: «Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал!..» Ну да. Ведь это так дополнительно ужасно: погиб, всё кончено, но еще, если представить себе, каким образом, — дурное, малое ничто поднимает руку — на что? На всё, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделать.

И это — отдельно написанное, благородное, абсолютное, наивное, даже детское какое-то проклятье в конце.

Для меня — это последнее его стихотворение, оставляющее мне возможность обывательской растроганности:

Господи! А ведь он еще так молод! Дальнейший его возраст — лишь неважная, житейская примета, ничего не объясняющая в завершённой, как окружность, наибольшей и вечной зрелости духа, не подлежащей вычислению.

В спешке жажды и тоски по нему сколько жизни проводим мы среди его строк, словно локти разбивая об острые углы раскалённого неююта, в котором пребывала его душа. В ссадинах выхожу я из этого чтения. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, — при его-то таланте протянуть руку и о пустой звук порезаться, как об остриё. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности — «И верится, и плачется, и так легко, легко». О, знаю я эту лёгкость: всё быстрее, быстрее бег его нервов, всё уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце, и бедная эта живая оговорка: «Но не тем глубоким сном могилы...»

И еще очень люблю я в нём небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!» Это — как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захвораешь перевозбуждением оттого, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдешь невольно на неясный зов какой-то белизны. И увидишь: долгое здание, приведённое в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом оперишься и отдохнёшь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не надолго и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский монастырь, где по ночам так ярко белеют монастырь, маленький памятник и звезды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеей твоей крови и нежностью памяти, то живо впрямь. Это ниче-

му не помогает. И всё же я не добралась еще до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы еще развалины монастыря, и скорбная тень молодого монаха всё хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва и Кура сближаются возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь и видел всё это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его зрения, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращён сюда всевластным усилием любви. Там я и оставила его — он стоит там обласканный южным небом, но хочет вернуться на север, туда, куда ему нельзя не вернуться. И он вернётся.

Но почему два имени сразу? Не знаю. Так случилось со мной. Недавно, в чужой стране, в большом городе, я и два человека из этого города, и один человек из моего города стояли и смотрели на чужую прекрасную реку. И кто-то из тех двоих мельком, имея в виду что-то свое, упомянул эти имена. Мы ничего не ответили им, но наши лица стали похожи. Они спросили: «Что вы?» Я сказала: «Ничего». И выговорила вдруг так, как давно не могла выговорить: ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ.

И в этом было всё, всё: они, и имя земли, столь близкое к их именам, и многозначительность души, связанная этим, всё, что знают все люди, и еще что-то, что знает лишь эта земля.

ВСТРЕЧА

Он умер, прошло сто лет и еще столько, сколько было мне в прошлом году, когда в августе, вечером, после дождя, остановилась посреди парка, где некогда он бывал каждый день. Только что на повороте аллеи я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, полтора века назад вытесненный бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. Испытав раздражение, как если бы он, действительно, пробегая задел меня локтем, я повернулась и пошла обратно.

При поспешности его движений он всё здесь осенил и насытил собой, и с памятью о нём нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след. И всё-таки ощущение совпадения с ним было искусственным и неточным.

Чтобы полностью воспроизвести в себе какой-то миг его зрения, я расчётливо направилась туда, где это было наиболее возможно, — к источнику, который он любил наблюдать. Нетерпеливая корысть владела мною. Я уже устала думать о нём, выслеживать его дыхание, уцелевшее в пространстве, мое возбуждение нуждалось в очевидной удаче и взаимности.

Я явилась со стороны кустов, чтобы застать в спину и врасплох обнаженную мраморную фигуру, обязанную стать посредником между моим и его настроением. Я горячо жда-

ла от нее, что она вернет моим глазам энергию его взгляда, воспринятую смуглым камнем в начале прошлого столетия. Приняв страстное заблуждение мозга за острей совершенно расчёта, я могущественно нацелила его на ясные черты статуи и тут же поняла, что промахнулась, как человек, поцеловавший пустоту.

Да, конечно, он стоял именно здесь, в августе, вечером, после дождя, и видел юное бессознание этого тела, простое лицо со слабым выражением какой-то полудюгадки, нежное, поникшее плечо, острую грудь, бесхитростные колени, открытые влажному падению кленовых листьев... Бог с ним! Теперь мне это было совершенно безразлично.

Разом утомившись и заскучав, я на всякий случай ещё раз обошла вокруг, но так и не испытала никакого ответа. Я попила с ладони холодной воды, пустой и скушной на вкус, и, вдруг ощутив злобу и гнев, пошла прочь.

Но постепенно мои нервы опять сосредоточились на нём, и влияние его парка мучительно управляло мной, как сильный взгляд в спину, придающий движениям скованность и нетрезвость. Я тупо и ловко пробивалась вперед, сквозь оранжевую мощь заходящего солнца, обезумев от сильного предчувствия, заострившись телом и помертвев как пёс, прервавший слух и зрение, чтобы не мешать ноздрям вдохнуть короткую боль искомого запаха. И вот острым провидением лопаток я уловила тонкий сигнал приветя, заботливо обращенный ко мне. Помедлив, я в торжественной тишине пульсов обернулась к этим деревьям, небесам и водам, к изваяниям, разумно белеющим среди зелени, ко всему, что не выдержало вдруг избытка его имени и в тоске и любви выдохнуло его мне в затылок.

В глубоком объёме сумерек чисто мерцало небольшое строение с хороводом колонн возле округлого входа. Откликнувшись призыву яркой белизны, я подошла и на песке

возле ступеней различила резвый след маленькой ноги, лукавый и быстрый, как улыбка. Радостно засмеявшись, я ласкалась лбом к доброй прохладе колонн, обретая простоту и покой. Я знала, кто возвёл их так справедливо, и благодарила его за ясность ума. Беспечная свобода удлинённого здания сдерживалась суровой и прочной дисциплиной колонн, и в их соразмерном порядке было легко на душе, как под защитой простого закона. Вероятно, и тот, ради кого я пришла сюда, отдыхал здесь от жгучей и неопределенной вспыльчивости юного мозга, упершись сильным лбом в трезвую зрелость мраморных полукружий. Образ его, утомивший меня сегодня, притих и утратил настойчивость, и я могла расстаться с ним с приятным чувством победы.

Я вернулась в город и прекрасно спала в маленьком старомодном номере, даже во сне радуясь его тихому плюшу и бесполезной меди канделябров.

Утром я пошла в дом, где он жил и умер, и, привязав к обуви огромные шлёпанцы, поднялась в небольшую квартиру, много раз реставрированную и всё же хорошо сохранившую выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивали лица к многочисленным стендам, и в этой осторожной позе все казались длинноносы и трогательно нехороши собой.

Я сразу же попала в острое чувство разлуки с ним, как будто не застала его дома вопреки ожиданию. Все его изображения и копии писем и документов не открывали мне смысла его тайны, а, напротив, отводили меня вдаль от нее, в сторону чужого и общепринятого объяснения его личности великого человека.

В одной из комнат я столкнулась с большой группой экскурсантов, возглавляемой учёной сотрудницей музея. Уверенным голосом она перечисляла печальные приметы его

жизни, безошибочно тыкая указкой в долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Мне невозможно было это слушать, и, мельком глянув на меня, она, видимо, заметила в моём лице непослушание истине, самостоятельность любви, неподвластную ее хозяйской воле. С каким-то злорадным упорством она стала обращать свои пояснения ко мне, и, попав в неловкую зависимость от её сурового взгляда, я не могла уйти. Оценив мое смирение и несколько смягчившись, она, как для пения, возвысила голос, чтобы объявить мне о его трагической гибели, но я, с неожиданной непринуждённостью, повернулась к ней спиной и вышла.

Теперь я очень торопилась, желая разминуться с экскурсией. И всё же я задержалась возле скромной витрины, хранящей под стеклом полметра мягкой черной материи, приведённой портным к изящному точному силуэту. Это был жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер поразил и разжалобил меня, и живая прочность моего тела вострепнулась в могучем сострадании, готовая к прыжку, чтобы защитить собой чью-то родимую, горячую беззащитную худобу...

Внизу, во дворе, где флигели и сирень всё еще пребывали в кротком уюте прошлых столетий, маленькая чужая девочка радостно уставилась на меня и сказала с чистосердечной любовью: «Здравствуй!» Я посчитала это доброй приметой и заторопилась ехать, как если бы он ждал меня и я знала где.

Теперь, когда я знала, что скоро уеду, я шла медленно чтобы утомить и измучить себя этим городом и не жалеть о разлуке с ним. Он был слишком просто сложен, чтобы не замечать этого. Каждая его улица, блистающая логикой и прямизной, требовала художественной разгадки и угнетала разум непрерывным трудом восхищения. Старинные здания, населённые современной обыденной жизнью, казались мне

нездешними и необитаемыми, как Парфенон, и, запрокинув голову к их ясным фасадам, я испытывала темное беспокойство невежды, взирающего на небеса. Тот, чьи следы привели меня сюда, с лёгкостью любил этот город: для него совершенство было будничным и произвольным вариантом формы, ничего другого ему и в голову не приходило.

1966

ВЕЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Сначала слышалось только: «Бу-бу-бу...» Это большие бабушкины губы бубнили над непрочным детским теменем, извещая его о грядущей истине, о радости, дарованной всем ни за что ни про что, просто за заслугу рождения. Потом, в сиротстве эвакуации, бормотание прояснилось в слова — до сих пор пугаюсь их нежной и безвыходной жути: «Буря мглою небо кроет...»

Много лет спустя в Тригорском, при буре и мгле, при подсвечнике в три огня, услышу, как сама по себе, отвечая заводу прошлого столетия, расплчется в клетке маленькая золотая птичка — улада одиноких зимних вечеров. Может быть, и не было ее здесь тогда — тем хуже! Как тосковал он, как бедствовал в этих занесённых снегом местах!

Между этими двумя ощущениями — много жизни, первое беспечное обладание Пушкиным и разлука с ним на время юношеского смятенного невежества. Взрослея, душа обращается к Пушкину, страстно следит за ним, берёт его себе, и этот поиск соответствует поиску собственной зрелости. Какое наслаждение—присвоить, никого не обделив, заполнить в общение эту личность, самую пленительную в человечестве, ободряюще здоровую, безызычную, как зимний день.

Любоваться им — нелегко, мучительна тайна его ничем не скованной лёгкости. Откуда берется в горле такая свобода?

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса...

О, знаем мы эту лёгкость и эту свободу За всё за это — загнанность в угол, ожог рассудка и рана в низ живота. Так и мыкаемся между восторгом, что жив и ненаглядно прекрасен, и страшной вестью о его смерти, всегда новой и затемняющей зрение.

И вспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.

Как это делается? Кажется, понимал это лишь А.Н. Вульф, считавший себя соучастником стихотворения, — ах, пусть его, наверно, так и было. Но с кем? С никудышным Алексеем Николаевичем ехал, доверчиво сиял глазами, подъезжал под Ижоры, а меня и в помине не было. Ужас тоски и ревности.

Ревности к Пушкину, как всегда, много. Все мы влюблены и ревнуем, как милое и обширное семейство Осиповых—Вульф, — к друзьям, к возлюбленным, к исследователям, к чтецам, ко всем, посягающим на принадлежность Пушкина лишь нашему знанию и сердцу.

Все мы чего-то ждем, чего-то добиваемся от Пушкина, — что ж, он никому не отказывает в ответе. Достаточно сосредоточить на нём душу, не утяжелённую злом, чтобы услышать спасительный шум его появления — не более заметный, чем при возникновении улыбки или румянца. Но не следует фамильярничать с его именем. Он знает, чем мы ему обязаны, и разом поставит нас на место с ликующей бесцеремонностью, позволенной только ему, — ему-то не у кого спрашивать позволения: «Читатель ждет уж рифмы розы...» Так и будем стоять с дурацким видом, поймав на его галантную и небрежную розу— в подарок или в насмешку.

Мы — путники в сторону Пушкина, и хотя это путь нашего разума, нашей нравственности, географически он приводит нас в Михайловское: где же быть Пушкину, как не здесь? Хранитель заповедных мест, или директор заповедника, С.С. Гейченко говорит, что нужно уметь позвать того, кто сытил своим очевидным присутствием воздух парка, леса и поля, и он незамедлительно ответит: «Ау!» Милый Семён Степанович, судя по вашему многознающему лицу, заглянувшему в тайну, вам не раз выпадала удача этой переклички.

Стало быть, муки, раны и смерти, подтверждённой непреложностью белого памятника за оградой монастыря, все же недостало Пушкину для отсутствия в мире?

Представляю, как белые аисты, живущие над входом усадьбу, тревожно косят острым зрачком на многотысячную толпу.

Впрочем, про множество людей, сведенных в единство просвещенной любовью, уместнее сказать: человечество. К каким его счастливым обращено «ау», смутно брезжащее в парке, будто бы ответная приязнь привет Пушкина — нам?

ЧУДНАЯ ВЕЧНОСТЬ

Такая маленькая, родом из Выборга, и в облике — особенное выражение, по которому часто можно угадать истинных ленинградцев: неизгладимый отсвет благородного города, который день за днём отражался в пристальном лице человека и запечатлелся в нём чертой красоты. И — слабая голубая тень, неисцелённость от блокады, от страдания, перенесённого в младенчестве. Выпуклость лба — нежная и прочная вместе, как у людей, усугубивших врождённую склонность к знанию кропотливым трудом.

Но не в учёности было дело, а в более грозной и насущной страсти, это я сразу поняла, когда увидела, как та, маленькая, с насупленным лбом, стоит одна между Пушкиным и множеством людей, пропуская через себя испепеляющую энергию этой вечной взаимосвязи. Казалось бы: много ли удали надо — быть экскурсоводом, но как доблестно, как отважно стояла, вооружённая указкой, готовая сопроводить к Пушкину или заслонить его собой, если вдруг сыщется среди паломников человек случайный, ленивый, грубый и невежда! И представьте себе — сыскался.

Она говорила приблизительно вот что. В тот день Пушкин проснулся, разбуженный своей улыбкой, словно внушённой ему извне в знак близкого и неизбежного счастья. Он заметался, помогаясь найти причину нарастающей радости, выскочил на крыльцо и, по привычке зрения к простору

здешних мест, глянул широко, с размахом, но близоруко увидел лишь спуск к реке, потому что над Соротью стоял туман и не пускал смотреть дальше. И вдруг, разом, без проводочки обнажилось сияющее пространство на том берегу — и душа, ликуя, ринулась на приволье. Он уже несколько часов бодро жил наяву, а непреодолимая улыбка всё длилась. Он совсем забыл, почему оказался в этих отрадных местах. А ведь он всегда, ожогом гордости, помнил об этом. Не потому ли, что часть его сильной крови была сведуща в незапамятном опыте черного рабства, кровь его болела запекалась в затылке, когда его неволили и принуждали? Но сегодня он был совершенно свободен. Только эта улыбка — кто-то поддерживал и разжигал ее своей непреклонной властью, и, когда он хотел переменить выражение губ, получался — смех... Если бы ему сказали тогда, что этот день пройдет, как все остальные, что его жизни, столь молодой минет сто семьдесят пять лет и все люди, обнимаясь и плача, оповестят друг друга об этой радости, — о, какую гримасу скуки выразил бы он переменчивым и быстрым лицом! Что значат эти пустяки в сравнении с тем, что вот-вот должно случиться! Он с утра, с начала улыбки знал, что обречён к счастью, и всё же кружева, порхнувшие в двери, застали его врасплох — он испугался, что так не умен. А она, как вы знаете, была гений и светилась себе на сильном солнце, не имея ни единого изъяна, как белый день и природа. Вот, кстати, ее плавный профиль, рисованный его рукой.

Но какой двоякий у нее голос: нежный и важный, как у благовоспитанного ребёнка, но с потайным дном темной глубины, на устах детский лепет, а в изначалье горла — всплески бездны, взрослой, как мироздание.

По этой аллее они гуляли, он всё был неловок, и она споткнулась — о, ужас! — не был ли при этом поранен башмачок? Нет, слава Богу, нисколько, вот на этой скамеечке,

обитой зеленым, он гостил, целый и невредимый, видите подпалину на увядшей зелени? — это он потом поцеловал незримый след того башмачка. Вот каково было ч у д н о е м г н о в е н ь е его жизни, ставшее для прочих людей чудной вечностью наслаждения.

Тогда тот случайный и небрежный гость — помните, я говорила, что такой сыскался? — обратился к экскурсоводу и сказал приблизительно вот что. Всё это нам и без вас известно. Но не кончилось же на этом дело, были у них другие мгновенья! Прошу внести ясность в этот вопрос для сведения вот этих доверчивых и наивных граждан.

Та, маленькая, со лбом и указкой, выдвинулась вперёд прыжком, на который не имел права Данзас, и, обороняя уязвимую хрупкость, чьи изящные очертания сохраняют маленький жилет на Мойке, стала в упор смотреть на противника, пока он не превратился в темный завиток воздуха, вскоре развившийся в ничто. Даже жаль его, право, — разве что пошлый, а так безобидный был человек, как, впрочем, и победители роковых поединков, за смутное сходство с которыми он поплатился.

Та, о которой речь, хоть речь, как всегда, о Пушкине жила в пристройке к длинному несуразному барскому дому, не однажды переделанному, горевшему и опять живому и здоровому. Некогда здесь обитало семейство, расточительное на дружбу и гостеприимство, возглавляемое просвещённой, пылкой и снисходительной маменькой и тёткой. Барышень, своих и приезжих, всегда было в избытке, был и брат, резвый в шалостях и рифмах, не любимый мной единственно из упрямства и своеволия. Всё это летало, лепетало, шелестело громоздким шелком, пело, пререкалось по-французски, было влюблено в Пушкина и любимо, дразнимо, мучимо и воспето им.

По вечерам из пристройки нам было слышно, как за стеной вздыхают одушевлённые вещи, клавиши позванивают во сне, плачет заводная птичка, постукивают разгневанные или танцующие каблуки, спорят и любезничают голоса. Когда они уж очень там расходились, владелица указки строго глядела в их сторону — я знала, что она пылко ревнует Пушкина, и справедливо: он был ее жизнь и судьба, но, нимало не заботясь об этом, предавался дружбе, влюблялся, любил, а когда стоял под венцом, был бы вовсе бел лицом, если бы не его неискоренимое африканство.

Не от этой ли непоправимой тоски гуляла она вчера с приезжим бородачом, горестно запрокинув к пушкинскому небу юное старинное лицо? Впрочем, бородач в каморку не был допущен, и, когда нам уже не хватило свечи сидеть и разговаривать, мы услышали, как вошел Пушкин и уселся на табурет, подвернув под себя ногу по своему обычаю.

Вы скажете: это не Пушкин был! А я скажу: чьи же ещё белки умеют так светиться в ночи, а губы темнеть в потемках, потому что их кровь смуглее, чем мрак? К тому же в эту ночь пламенно белел Святогорский монастырь, и прямо над ним дрожало и переливалось причудливое многоцветье, не виданное мной доселе.

Вы скажете: это северное сияние проступило из соседних сфер. Я скажу: пусть так, а всё же не раз приходил, сиживал неподалёку и однажды совсем втеснился в наше братство, хоть и скучал от наших разговоров о его вездесущей и неврежимой жизни и славе.

Но тут, как на грех, случилась из города золотоволосая гостья, несведущая в пятистопном ямбе. Она забрала себе всё пламя свечи и стояла — насквозь золотая, как гений, как вечная суть женственности и красоты. Она имела в виду провести упомянутого бородача, а того, кто сидел, подвер-

нув ногу, она не узнала, да он ей и ростом мал показался, но она за дверь — и он за ней, только их и видели.

Вы скажете: а может, это всё-таки не наяву было, а в стихах, например? Я скажу: если житьё-бытьё и бои с неукрошенным бытом—меньшая явь, чем стихи, как стану жить?

Чтобы окончательно запутать литературоведение, добавлю, что в ту недавнюю пору и в тех благословенных местах Пушкин был повсюду и на диво бодр и пригож—ведь был октябрь, любезный его сердцу.

А может быть, дело просто в том, что Пушкина достанет на всех людей и на все времена, он один у всех и свой у каждого, и каждый волен общаться с ним по своему доброму и любовному усмотрению, соотносить с ним воображение, чувства и поступки.

1974

СЛОВО О ПУШКИНЕ

Александр Пушкин «Элегия»:

*Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино, — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильнее.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.*

*Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.*

150 лет без Пушкина — да так ли это? Я думаю, что и одной минуты не удалось бы всем нам прожить без его несомненного и очевидного присутствия.

А стихотворение Пушкина, что я прочла, для нас не есть его пророчество, а есть еще просто радость, радость и причина для ликования — он родился на белом свете.

Он знал, зачем ему надобно жить — затем, чтобы мыслить и страдать. И смерть поэта — есть его художественное деяние, достижение. Впрочем, это я неточно пересказываю слова Мандельштама.

Пушкин не собирался умирать и не желал умирать, но то, что он должен был сделать для нас, он сделал. И всякий раз, возвращаясь нашей трагической мыслью, возвращаясь к дню его смерти, мы всё-таки должны быть уверены еще в одном: смерть его — это есть завершение его художественного существования и начало жизни для всех нас.

Правда 10 февраля, в этом году особенно тяжело это пережить, и все, кто идет вослед Пушкину, все взяли на себя осознанную или неосознанную ответственность перед русским словом и перед судьбою, в том смысле, как судьба эта связана с Пушкиным.

России без Пушкина в нашем представлении нет и быть не может. То, что всякая мысль о Пушкине связана с судьбой России, доказали великие люди. Нам остается только думать, думать и наслаждаться.

И если мне и приходится говорить о самом ужасном несчастье, которое нас постигло, — о смерти Пушкина, то всё-таки я говорю это в утешение тем, кто может меня услышать — только снести миг этого осознания. Вот как Пушкин умирает и говорит Далю: «Всё выше, выше...»

Из записок Даля:

«Собственно, от боли страдал он, по его словам, не столько, как от чрезмерной тоски... «Ах, какая тоска! — восклицал он иногда, закидывая руки за голову, — сердце изнывает!»

... «Кто у жены моей?» — спросил он между прочим. Я отвечал: много добрых людей принимают в тебе участие, —

зала и передняя полны с утра до ночи. «Ну, спасибо, — отвечал он, — однако же поди, скажи жене, что всё, слава Богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят».

...Ударило два часа пополудни, 29 января, — и в Пушкине оставалось жизни только на три четверти часа. Бодрый дух всё еще сохранил могущество; изредка только полудремотное забвенье на несколько секунд туманило мысли и душу. Тогда умирающий, несколько раз, подавал мне руку, сжимал ее и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдём, да выше, выше...»

Мы всегда можем получить ответ от того поэта, которого мы любим. Но Пушкин наиболее расположен к этому — по его счастливому устройству характера. Он как бы соучаствует в игре человека, который его любит. Он обязательно отзовется: он пошлёт или привет, или маленькое утешение, или какое-нибудь чудо обязательно случится, потому что в характер Пушкина входит еще невероятная доброта и благородство, почему так еще душа разрывается, почему так жалко.

Я знаю, что может быть много открытий еще будет, связанных с Пушкиным: можно найти еще письмо или ещё можно найти какие-то свидетельства, вещи. Мне же доставало строки Пушкина, чтобы в пределах этой строки делать открытия.

Нам остается только по мере сил наших не провиниться перед именем Пушкина, перед тем, что он сделал для нас.

Комментарии

с. 3 *Аксёнов Василий Павлович* (р. 1932) — писатель. С 1980 г. в эмиграции.

с. 5 *Высоцкий Владимир Семенович* (1938—1980) — поэт, артист театра на Таганке.

с. 5 *Офелия* — персонаж трагедии У. Шекспира «Трагическая история Гамлета, принца Датского».

с. 5 *Эльсинор* — место действия трагедии У. Шекспира «Трагическая история Гамлета, принца Датского».

с. 5 *Нерон* (37—68) — римский император, любивший выступать перед публикой как актер.

с. 14 *Войнович Владимир Николаевич* (р. 1932) — писатель. С 1980 г. в эмиграции.

с. 14 *Бавария* — федеративная земля в ФРГ.

с. 17 *Ванька-мокрый (бальзамин)* — декоративное комнатное и садовое растение с яркими цветами.

с. 24 *Мессерер Борис Асафович* (р. 1933) — театральный художник, живописец, график. Муж Б. Ахмадулиной.

с. 36 *Мандельштам Осип Эмилевич* (1891—1938) — поэт.

с. 50 *Марина* — Марина Ивановна Цветаева (1892—1941), поэт, прозаик.

с. 51 *Кура* — река в Закавказье, впадающая в Каспийское море; на ней стоит Тбилиси.

с. 55 *Арагви* — река в Грузии, левый приток реки Куры.

с. 60 «*Цветаева двух юных дочерей*» — сестры Цветаевы: Марина Ивановна (см. с. 49) и Анастасия Ивановна (1894—1993), писательница, мемуарист. Их отец Иван Владимирович Цветаев (1847—1913) — ученый, специалист в области античной истории, эпиграфики и искусства, создатель и первый директор Музея изящных искусств в Москве.

с. **60** *Нерви* — курортный город в Италии на берегу Генуэзского залива Средиземного моря.

с. **67** *Липкин Семен Израилевич* (р. 1911) — поэт, переводчик, прозаик.

с. **72** *Паркер* (нариц.) — самопишущая ручка, изготовленная на предприятиях американской компании «The Parker Pen Company», основанной в 1906 г.

с. **72** *Копелев Лев Зиновьевич* (Залманович) (р. 1912) — писатель, литературовед. С 1981 г. в эмиграции.

с. **79** *Симеон* — святой старец, которому Духом Святым было возвещено, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня.

с. **80** *Сретенье* — один из двенадесятих православных церковных праздников. Установлен в честь встречи (сретенья) праведником Симеоном Мессии — Младенца-Иисуса, которого родители, согласно священному обряду, в сороковой день несли в храм для «представления пред Господа».

с. **83** *«Гостит язык пророчеств и страстей / и льется кровь, как в Датском королевстве»* — имеются в виду события, разворачивающиеся в трагедии У. Шекспира «Трагическая история Гамлета, принца Датского».

с. **87** *«Здесь Та хотела спать...»* — М.И. Цветаева (см. с. 49).

с. **89** *Тальони Мария* (1804—1884) — выдающаяся романтическая балерина, ведущая солистка Парижской «Гранд-Опера». В 1837—1842 гг. выступала в Петербурге.

с. **91** Стихотворение впервые опубликовано под названием «Влияния весны».

с. **91** *Велегож* — село в 7 км от Тарусы.

с. **91** *Книгочий* (церковнослав.) — книжный, письменный человек, писец.

с. **92** *«Где бедный мальчик спит над чудною могилой»* — на могиле художника В.Э. Борисова-Мусатова (1870—1905) установлено мраморное надгробие *«Уснувший мальчик»* работы скульптора А.Т. Матвеева (1878—1960).

с. **93** *Рафаэль Санти* (1483—1520) — итальянский живописец и архитектор, один из самых ярких представителей Высокого Возрождения.

с. **93** *Амиреджоби Чабуа* (Мзечабук Ираклиевич) (р. 1921) — грузинский писатель.

с. 93 *Урбино* — город в Центральной Италии, в котором родился Рафаэль Санти.

с. 94 Стихотворение павсяно эссе М.И. Цветасвой «Два «Лесных царя» (1933). Эпиграф — начальные строки стихотворения М.И. Цветасвой «Сад» (1934).

с. 95 *Лесной Царь* — персонаж одноименной баллады немецкого поэта И.В. Гете (1749—1832).

с. 97 *101-й километр* — места принужденного жительства для бывших заключенных.

с. 100 *Попов Евгений Анатольевич* (р. 1946) — писатель.

с. 104 *Наталья Ивановна Андреева* — директор Дома творчества Худфонда в Тарусе.

с. 118 *Брегет* — карманные часы с боем, изготовлявшиеся в мастерской французского мастера А.Л. Бреге (1747—1823).

с. 118 *Рязанов Эльдар Александрович* (р. 1927) — кинорежиссер, драматург.

с. 121 *Державин Гаврила Романович* (1743—1816) — поэт, представитель русского классицизма.

с. 125 *Литецк* — город на реке Воронеж, областной центр, среди прочего известный своим народным хором.

с. 129 *Звёздкин Юрий Алексеевич* (1928—1994) — живописец.

с. 136 *Владимов* (наст. фамилия Волосевич) *Георгий Николаевич* (р. 1931) — писатель. С 1983 г. в эмиграции.

с. 140 *Жантильом* (фр.) — дворянин.

с. 147 *Ноева ладья*. Ной — праведник, который по велению Божию во время всемирного потопа спасается вместе с семьей, 7 парами чистых парами нечистых животных и 7 парами птиц на ковчеге.

с. 150 *Битов Андрей Георгиевич* (р. 1937) — писатель.

с. 150 *Нептунов трезубец*. Нептун — в римской мифологии первоначально бог источников и рек; позднее стал почитаться как бог морей, приводящий их в волнение и умиротворяющий своим трезубцем.

с. 151 *Тритон* — хвостатое земноводное семейства саламандр, похожее на ящерицу.

с. 157 *Орфей* — в древнегреческой мифологии фракийский певец, сын музы Каллиопы. Чудесным пением очаровывал богов и людей, укрощал дикие силы природы. Участник похода аргонавтов, изобретатель музыки, верный возлюбленный, спустившийся за своей женой Евридикой в Аид.

с. 163 *Грушников Олег Павлович* (р. 1937) — научный работник.

с. 163 *Атлант* — мужская статуя, поддерживающая перекрытие здания портика и т.д.

с. 164 *«Ты, чьей крестною мукою славен Воронеж...»* — О.Э. Мандельштам (см с. 36).

с. 164 *«С той, посмеившей проведать его хрустали...»* — весной 1936 г. А.А. Ахматова навестила О.Э. Мандельштама, сосланного в Воронеж (см. ее стихотворение «Воронеж», 1936).

с. 164 *«Где не вовсе потутилась пред человеком, / хоть четырежды сломлена воля коня...»* — четыре конные группы скульптора П.К. Клодта (1805—1867), установленные на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.

с. 165 *«Тот, чьи больные и дерзкие речи / снизошел покарать властелин на коне...»* — имеются в виду герои петербургской повести А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833) Евгений и конная статуя Петра I работы скульптора Э.М. Фальконе (1716—1791).

с. 167 *«Больница»* — имеется в виду стихотворение Б. Пастернака «В больнице» (1956).

с. 173 *Акафист* (церковнослав.) — особый жанр молитвословия, получивший весьма широкое распространение в русской православной церкви, насчитывающей десятки акафистов праздникам и святым.

с. 174 *6 июня* (26 мая по ст. стилю) 1799 г. — день рождения А.С. Пушкина.

с. 175 *Гвидон* — персонаж «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) А.С. Пушкина.

с. 178 *«Цветок»* — стихотворение А.С. Пушкина (1828).

с. 180 *Блок Александр Александрович* (1880—1921) — поэт.

с. 183 *Коваль Юрий* Иосифович (1938—1995) — писатель, художник.

с. 185 *Менишиков Александр Данилович* (1673—1729) — ближайший сподвижник Петра I, светлейший князь, генералиссимус.

с. 186 *Кирилл Белозерский* — монах, последователь Сергия Радонежского, основатель Кирилло-Белозерского монастыря в Вологодской обл. (1397).

с. 186 *Ферапонт* — монах московского Симонова монастыря, основатель Рождественского (Ферапонтова) монастыря в Вологодской обл. (ок. 1398).

с. 187 *Кириллов* — город в Вологодской области, возникший как слобода при Кирилло-Белозерском монастыре.

с. 187 «*Where are you from, madame?*» (англ.) — Откуда вы, мадам?

с. 187 *Негоциант* — купец, ведущий крупную оптовую торговлю, преимущественно за пределами своей страны.

с. 188 *Белозерск* — город в Вологодской области на берегу Белого озера.

с. 188 «*Земля была безвидна и пуста, и Божий Дух носился над водою*» — сокращенная цитата из Библии (Бытие, I, 2).

с. 192 *Батуми (Батум)* — столица Аджарии, порт на Черном море. Одна из его достопримечательностей — аквариум-дельфинарий.

с. 192 *Арион* (VII—VI в. до н.э.) — древнегреческий поэт, с именем которого связана легенда о чудесном спасении.

с. 193 *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции с 1697 г. Его вторжение в Россию завершилось поражением в Полтавском сражении в 1709 г.

с. 194 *Петергоф* — основанная Петром I загородная резиденция российских императоров. Дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX вв.

с. 195 «Стихотворение называется «Постой», но в этом случае слово «постой» — не глагол в повелительном наклонении, а существительное, то есть я имею в виду, что я где-то на постое нахожусь. А я действительно недавно, в начале этого лета, была постояльцем в Доме творчества композиторов. Композиторы великодушно предоставили мне возможность работать в их владениях. И вот эти два стихотворения <«Постой» и «Завидев дом...»> — как бы раболепное посвящение их музыке, которая была подлинной хозяйкой дома, в котором я была случайной гостьей» (Б. Ахмадулина. Пояснение, предвещающее авторское чтение стихотворения «Постой» на грампластинке «Стихотворения — чудный театр»).

с. 195 *Териоки* (с 1948 г. Зеленогорск) — курортный город на берегу Финского залива в Ленинградской области.

с. 197 Стихотворение обращено к А.А. Ахматовой.

с. 198 *Стриндберг Юхан Август* (1849—1912) — шведский прозаик, драматург, публицист.

с. 199 «*Здесь знаменитый возвещал философ (он и поэт)...*» — имеется в виду Георгий Иванович Чулков (1879—1939), писатель-символист, автор идеи «мистического анархизма», издатель альма-

наха «Факелы». В редакционном предисловии к 1-й книге альманаха, вышедшей в Санкт-Петербурге в 1906 г., впервые прозвучала фраза «*Так жить нельзя!*».

с. 199 *«Бродячая собака»* — литературно-артистическое кабаре, организованное режиссером и артистом Б.К. Прониным (1875—1946) в Петербурге в декабре 1911 г. Среди его первых участников В.Э. Мейерхольд, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин, И.А. Сац и др. Про существовало до 1915 г.

с. 201 *Сапунов Николай Николаевич* (1880—1912) — живописец, театральный художник.

с. 202 *«Какая безысходность на рассвете!»* — запись А. Блока в записной книжке от 4 августа 1913 г.

с. 204 *Пьеро* — традиционный персонаж французской народной комедии.

с. 207 *Сестрорецк. Кюоккала* (с 1948 г. Репино), *Териоки* (с 1948 г. Зеленогорск) — курортные местности на берегу Финского залива.

с. 207 *Ростов, Батум, Константинополь* — пункты на пути отступления и эмиграции белой армии.

с. 207 *Святая Женеви́ева* — имеется в виду Сен-Женевьев де Буа, муниципальное кладбище в пригороде Парижа, ранее — православное кладбище, на котором хоронили эмигрантов из России.

с. 208 *Перекоп* — Перекопский перешеек, соединяющий Крымский полуостров с материком. В ноябре 1920 г. здесь происходили ожесточенные бои в ходе гражданской войны.

с. 210 Художник *Н.И. Сапунов* утонул в Финском заливе 14 июня 1912 г. О его гибели подробно рассказала драматическая актриса В.П. Веригина в своих «Воспоминаниях» (Л., 1974).

с. 210 *«Как хороши, как свежи...»* — «Как хороши, как свежи были розы...» — начальная строка стихотворения И.П. Мятлева (1796—1844) «Розы» (1835). И.С. Тургенев использовал эту строку в своем одноименном стихотворении в прозе (1879).

с. 211 *Кронштадт* — город и порт на острове Котлин в Финском заливе.

с. 212 *Фармацевты* — так в конце 900 — начале 10-х гг. именovali людей, тершихся около искусства.

с. 215 *Карса́вина Тамара Плато́новна* (1885—1978) — артистка балета, педагог. Постоянная партнерша и сподвижница новаторских исканий балетмейстера М.М. Фокина.

с. 215 В *Андреевском соборе* в Кронштадте хранились некоторые реликвии, связанные с Петром I. В этом соборе отпевали Н.Н. Сапунова (см. с. 186).

с. 222 *Коонен Алиса Георгиевна* (1889—1974) — ведущая актриса Камерного театра. Жена А.Я. Таирова.

с. 222 *Валаам* — крупный остров в Ладожском озере, на котором располагался Спасо-Преображенский (Валаамский) мужской монастырь.

с. 226 *Даль Владимир Иванович* (1801—1872) — писатель, лексикограф, этнограф, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка».

с. 228 *Сортавала* — курортный город в Карелии на Ладожском озере.

с. 229 *Набоков Владимир Владимирович* (1899—1977) — русско-американский писатель. С 1919 г. в эмиграции.

с. 229 *Сальвини Томмазо* (1829—1915) — итальянский актер, творчество которого стало вершиной сценического искусства XIX в.

с. 231 *Некакий* (устар.) — какой-то, некий.

с. 231 *Нетопырь* — один из видов летучих мышей.

с. 235 *Менделеев Дмитрий Иванович* (1834—1907) — химик, педагог, общественный деятель. Создатель периодической системы химических элементов.

с. 235 *Аргентум* (латин.) — серебро.

с. 236 *Ибсен Генрик* (1828—1906) — норвежский драматург.

с. 236 *Сольвейг* — персонаж драматической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1867).

с. 238 *Питкяранта* (в переводе с финского — долгий берег) — город в Карелии на берегу Ладожского озера.

с. 238 *Сердоболь* — название города *Сортавала* до 1918 г.

с. 238 *Эпоха Возрождения* — период в культурном и идейном развитии стран Западной и Центральной Европы (в Италии — XIV—XVI вв., в других странах — конец XV—XVI вв.), переходный от средневековой культуры к культуре нового времени.

с. 242 *Феникс* — сказочная птица, по представлениям древних, в старости сжигавшая себя и возрождавшаяся из пепла молодой и обновленной; символ вечного возрождения.

с. 244 *Дельвиг Антон Антонович* (1798—1831) — поэт, издатель. Друг А.С. Пушкина.

с. 244 *Заратустра* (Заратуштра) — пророк и реформатор древнеиранской религии. «Так говорил Заратустра» — одно из наиболее известных сочинений немецкого философа Фридриха Ницше (1844—1900).

с. 244 *Ампер Андре Мари* (1775—1836) — французский ученый-физик.

с. 247 *Пеплум* — верхняя одежда древних гречанок и римлянок из легкой ткани в складках, без рукавов, надевавшаяся поверх туники.

с. 247 *Брокгауз-Ефрон* — издательство, основанное в Петербурге в 1889 г. типографом И.А. Ефроном при участии немецкого издателя Ф.А. Брокгауза.

с. 248 *Схи́ма* — высшая монашеская степень в православной церкви, требующая от посвященного в нее выполнения суровых аскетических правил.

с. 249 *Гамсун* (наст. фамилия Педерсен) *Кнут* (1859—1952) — норвежский писатель.

с. 249 *Фрёкен Эдварда* — главная героиня романа К. Гамсуна «Пан» (1894).

с. 250 *Наяда* — в древнегреческой мифологии нимфа рек и ручьев.

с. 250 *Табльдот* — общий обеденный стол в гостиницах, пансионатах и ресторанах Западной Европы.

с. 253 *Павлова Анна Павловна* (Матвеевна) (1881—1931) — артистка балета, выдающаяся классическая танцовщица.

с. 253 *Королевич Елисей* — персонаж «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина (1833).

с. 264 *Водосбор* (орлик, аквилегия) — род многолетних трав семейства лютиковых.

с. 264 *Осирис* (*Озирис*) — в древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы, покровитель и судья мертвых.

с. 265 *Везувий* — действующий вулкан на юге Италии, близ Неаполя.

с. 267 *Кунсткамера* (нем.) — в прошлом название различных исторических, художественных, естественно-научных и других коллекций редкостей и места их хранения.

с. 268 *Врубель Михаил Александрович* (1856—1910) — живописец, график.

с. 270 *Калевала* — карело-финский эпос.

с. 271 *Калев* — сказочная страна, в которой совершают подвиги и приключения герои «Калевалы».

с. 274 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 18 октября 1995 гс. 274 *Васильевский остров* — самый большой остров в дельте Невы исторический район Санкт-Петербурга.

с. 274 «*Пушкин писал брату из Михайловского...*» — имеется в виду письмо поэта А.С. Пушкину от 27 марта 1825 г.: «Душа моя, что за прелесть «Бабушкин кот»! я перечел два раза и одним духом всю повесть теперь только и брежу Трифоном Фалалеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмура глаза, повергывая голову и выгибая спину. Погорельский ведь Перовский, не правда ли?»

с. 274 *Гоген* Поль Эжен Анри (1846—1903) — французский живописец, скульптор, многие годы проработавший на островах Полинезии.

с. 274 *Погорельский Антоний* (псевдоним Алексея Алексеевича Перовского) (1787—1836) — писатель-романтик.

с. 275 *Руссо* Жан Жак (1712—1778) — французский философ-просветитель, писатель, композитор, наиболее влиятельный представитель французского сентиментализма.

с. 275 *Святой Николай* — архиепископ мирликийский (IV в.), великий христианский святой, прославившийся чудотворениями при жизни и по смерти, повсеместно чтимый в христианской церкви.

с. 275 *Кузнец Вакула* — персонаж повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1831).

с. 275 *Декохт* (декокт) (лат.) — отвар из лекарственных трав.

с. 275 *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий философ.

с. 275 «*Русский крест близ Ниццы*» — имеется в виду могила А.И. Герцена (1812— 1870) в окрестностях Ниццы, средиземноморского курорта во Франции.

с. 276 *Дузе* Элеонора (1858—1924) — итальянская актриса, с огромным успехом выступавшая во многих странах, в том числе и в России.

с. 276 *Солутан* — лекарство от кашля.

с. 276 *Тверь* — один из политических и культурных центров Руси.

с. 276 *Минеи* («Четьи-Минеи» — «чтения ежемесячные») — сборники житий святых, составленные по месяцам в соответствии с днями чествования церковью памяти каждого Святого.

с. 277 *Нахимов* Павел Степанович (1802—1855) — флотоводец, адмирал.

с. 277 *Пилигрим* (итал.) — странствующий богомолец, паломник, странник, путешественник.

с. 277 *Пелерина* (фр.) — короткий плащ до пояса в виде круглой накидки или короткая круглая накидка с капюшоном, надеваемая поверх плаща.

с. 277 *Крузеништерн* Иван Федорович (1770—1846) — мореплаватель, адмирал, начальник первой русской кругосветной экспедиции (1803—1806).

с. 278 *Чадра* (тюрк.) — покрывало, которым женщины-мусульманки закрываются с головы до ног, оставляя открытыми только глаза.

с. 278 *Гарлем* — район г. Нью-Йорка на северо-востоке острова Манхаттан, населенный главным образом неграми («негритянское», или «черное гетто»).

с. 278 *Мансарда* (фр.) — чердачное жилое помещение с косым потолком или косой стеной.

с. 278 *Манго* — тропическое плодовое дерево с ароматными сладкими плодами.

с. 278 *Кокто* Жан (1889—1963) — французский поэт, прозаик, драматург.

с. 279 *Кафе «Куполь»* — знаменитое парижское кафе, место встречи художников.

с. 279 *Таити* — самый крупный остров в группе островов Общества в Тихом океане.

с. 279 *Коралл* (греч.) — известковое отложение морского животного, камень красного, розового и белого цвета, используемый для поделки украшений.

с. 279 *Альянс* (фр.) — союз, объединение на основе договорных обязательств.

с. 280 *Дрезина* (нем.) — двухосная железнодорожная тележка, передвигаемая по рельсам.

с. 280 *Смарагд* — одно из названий изумруда.

с. 280 *«Ты помнишь ли, как Пушкин анекдот...»* — литератор Тит Космократов (псевдоним Владимира Павловича Титова, 1807—1891) осенью 1828 г. слышал рассказанную Пушкиным у Карамзиных «сказку про черта, который ездил на извозчике на Васильевский остров», записал ее, пошел с тетрадью к Пушкину в гостиницу Демута, убедил его прослушать от начала до конца, воспользовался многими, поныне очень памятными его поправками и опубликовал под названием «Уединенный домик на Васильевс-

ком» в «Северных цветах» А. Дельвига на 1829 г.

с. **280** *Шандал* (устар.) — подсвечник.

с. **281** *Жуковский* Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, один из ближайших друзей А.С. Пушкина.

с. **281** *Карамзины*— Николай Михайлович (1766—1826), писатель, историк, автор «Истории государства Российского»; его жена Екатерина Андреевна (1780—1851), преданнейший друг А.С. Пушкина; их дети: Александр, Андрей, Владимир, Николай, Екатерина, Елизавета и Софья, с которыми Пушкин также находился в дружеских отношениях.

с. **285** «*Как с тою — тот, где яд, клинок, Верона*» — имеются в виду герои и события трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта» (1595).

с. **286** *Звезда Вифлеема*, явившаяся волхвам и приведшая их к месту рождения Спасителя, очевидно, была не естественным явлением, а чудесным: исполнив свое назначение, она затем исчезла с неба.

с. **289** «*Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн*» («Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн») — цитата из Евангелия от Иоанна, I, 6.

с. **289** *Росталь* — ростепель. оттепель, зимнее тепло, таяние снега.

с. **289** *Вежды* (устар.) — глазные веки, глаза.

с. **289** *Несть* (устар.) — нет.

с. **289** *Иже* (церковнослав.) — который, которые.

с. **291** *Увоть* — река, на обоих берегах которой расположен город Иваново.

с. **291** *Свояси* (устар.) — свой дом, своя семья, родина.

с. **291** *Потылица* (устар.) — затылок, загривок.

с. **291** *Возглавица* (устар.) — подушка.

с. **291** *Опочив* (устар.) — сон, отход ко сну, отдых лежа.

с. **292** *Таврида* — название Крымского полуострова после его присоединения к России (1783).

с. **292** *Творило* (обл.) — отверстие подвала, погребка или какого-либо иного помещения, сооружения, находящегося ниже уровня пола, земли; лаз.

с. **293** *Сныть* — многолетнее травянистое растение с крупными листьями.

с. **293** *Мякина* — отходы, получаемые при обмолоте и очистке зерна хлебных злаков, льна и некоторых других культур.

с. **293** *Рацея* (устар.) — длинное назидательное рассуждение, высказывание.

с. **293** *Кана Галилейская* — небольшой город в семи верстах от Назарета, в котором Господь Иисус совершил свое первое чудо, на брачном пиршестве обратив воду в вино.

с. **295** *«Колицем должен еси?»* («Сколько ты должен?») — цитата из Евангелия от Луки, XVI, 5.

с. **295** *Овамо* (устар.) — туда, там.

с. **295** *Семо* (устар.) — сюда, здесь.

с. **295** *Помавать* (устар.) — помахивать, покачивать, колебать.

с. **295** *Антропофаг* — людоед.

с. **296** *Оборучье* — существительное от «оборучный» (устар.) — действующий одинаково хорошо обеими руками (о ловком человеке).

с. **296** *Скрытень* — тайник, скрытное место.

с. **297** *Делинквент* (латин.) — правонарушитель, преступник, мятежник.

с. **297** *«Вкушая, вкусих мало меду и се аз умираю»* («Вкушая, вкусил мало меду и вот я умираю») — неточная сокращенная цитата из Библии (Первая Книга Царств, XIV, 43).

с. **298** *Лестовица* (лествица, лестовка) (устар.) — вервица, ременные четки, по которым молились, ими же стегали ослушных.

с. **298** *Мурин* (устар.) — 1. Негр, арап. 2. Черт, нечистая сила.

с. **298** *Мытарь* (церковнослав.) — сборщик податей, пошлин.

с. **298** *Когождо* (церковнослав.) — каждого.

с. **300** *Люксембург* — 1. Европейское государство Великое герцогство Люксембург. 2. Город, столица Великого герцогства Люксембург. 3. Роза Люксембург (1871—1919) — видная деятельница польской и германской социал-демократии и 2-го Интернационала.

с. **301** *Прима* — первый или основной голос, первая скрипка.

с. **301** *Втора* — второй голос, вторая скрипка.

с. **301** *Давыдов Денис Васильевич* (1784—1839) — генерал, партизан Отечественной войны 1812 г., поэт, военный писатель.

с. **302** *«Тебе певцу, тебе герою!»* — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина «Д.В. Давыдову» (1836).

с. **303** *Бунин Иван Алексеевич* (1870—1953) — писатель. С 1920 г. в эмиграции.

с. **304** *Елец* — город в Липецкой области, где провел гимназические годы И.А. Бунин.

с. **308** *Анахорет* (греч.) — пустынный, отшельник.

с. 309 *Имеретинские лозы*. Имерети (Имеретия) — историческая область в Западной Грузии с центром Кутаиси (Кутаис).

с. 312 *Пропилеи* — архитектурное обрамление парадного прохода или проезда симметричными портиками и колоннадами.

с. 312 *Батюшков Константин Николаевич* (1787—1855) — поэт.

с. 312 *Командор, Донна Анна* — персонажи трагедии А.С. Пушкина «Каменный гость» (1830).

с. 313 *Балясина* — резной или точеный столбик, служащий украшением для мебели или составляющий часть перил ограды.

с. 314 *Петроний Гай* (?—66) — римский писатель.

с. 316 *Малеевка* — поселок в Московской области вблизи г. Руза, где находится Дом творчества писателей.

с. 316 *Панафиней* — в древней Аттике празднества в честь богини Афины.

с. 316 *Кифара* (греч.) — древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент.

с. 316 *Перикл* (ок. 490—429 гг. до н.э.) — афинский стратег (главнокомандующий), вождь демократической группировки. Годы правления Перикла (443—429) — время наивысшего могущества Афин, наибольшей демократизации политического строя и расцвета культуры.

с. 316 *Сократовы одежды*. Сократ (ок. 470—399 гг. до н.э.) — древнегреческий философ, один из основателей диалектики.

с. 316 *Платон* (428 или 427—348 или 347 г. до н.э.) — древнегреческий философ-идеалист, ученик Сократа.

с. 316 *Ксенофонт* (ок. 430—355 или 354 г. до н.э.) — древнегреческий писатель и историк.

с. 316 *Аттический фантом*. Аттика — в древности область на юго-востоке Средней Греции (центр — Афины).

с. 316 «*Рожденная на свет в убранстве всеоружья — / исчадь не твоей, а Зевсовой главы*» — Афина Паллада, в древнегреческой мифологии богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел. Дочь верховного бога Зевса, родившаяся в полном вооружении (в шлеме и панцире) из его головы.

с. 317 *Гефест* — в древнегреческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла. Сын Зевса и Геры.

с. 317 *Персей* — в древнегреческой мифологии герой, совершивший ряд подвигов: убил горгону Медузу, освободил от морского чудовища Андромеду и др. Сын Зевса и Данаи.

с. **317 Горгоны** — в древнегреческой мифологии крылатые женщины-чудовища со змеями вместо волос; взгляд Горгоны превращал все живое в камень.

с. **317 Олимп** — в древнегреческой мифологии священная гора, место пребывания богов во главе с Зевсом. Олимп также собрание, сонм олимпийских богов.

с. **317 Фидиево злато**. Фидий (нач. V в. до н.э. — ок. 432—431 гг. до н.э.) — древнегреческий скульптор периода высокой классики, его творчество одно из высших достижений мирового искусства. Несохранившиеся статуи Зевса Олимпийского и Афины Парфенос были выполнены Фидием из золота и слоновой кости.

с. **319 Бродский Иосиф Александрович** (1936—1996) — поэт, эссеист. С 1972 г. в эмиграции.

с. **319 Венеция** — город-музей в Северной Италии.

с. **319 Мост Риальто** — мост через Большой канал в Венеции.

с. **320 Тицичетто** (наст. фамилия Робусто) *Яконо* (1518—1594) — итальянский живописец.

с. **320 Святой Марк** — один из четырех евангелистов, небесный покровитель Венеции, религиозный и гражданский символ города.

с. **320 Диез, бемоль, бекар** (фр.) — нотные знаки.

с. **320 Недолыга** (устар.) — плохой лгун, не умеющий хорошо солгать.

с. **323 Сиена** — город в Центральной Италии.

с. **323 Паланкин** (португ.) — носилки в форме кресла или лежа, укрепленные на двух длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков.

с. **323 Зурна** (тур.) — духовой язычковый музыкальный инструмент.

с. **323 Палаццо Пикколомини** — дворец Пия II (светское имя — Энеа Сильвио Пикколомини), римского папы с 1458 г., в городе Сиена.

с. **325 Палаццо** (итал.) — итальянский городской дворец-особняк XV—XVIII вв., имевший величественный уличный фасад и внутренний двор с арочными галереями.

с. **325 Коринф** — древнегреческий полис на полуострове Пелопоннес. Коринфский ордер — один из трех основных архитектурных ордеров.

с. **325 Дорический ордер** — один из трех основных архитектурных ордеров.

- с. 325 *Портал* — архитектурно оформленный вход в здание.
- с. 325 *Милан* — город в Северной Италии, основанный в конце V — начале IV в. до н.э.
- с. 326 *Тамань* (Таманский полуостров) — западная оконечность Кавказа между Азовским и Черным морями.
- с. 326 *Катулл Гай Валерий* (ок. 87 — ок. 54 гг. до н.э.) — римский поэт-лирик.
- с. 327 *Палладио* (наст. фамилия ди Пьетро) *Андреа* (1508—1580) — итальянский архитектор.
- с. 327 *Виченца* — город на северо-востоке Италии, в котором много построек архитектора А. Палладио.
- с. 327 *Дормез* (фр.) — старинная большая карета, приспособленная для сна в пути.
- с. 328 *Лал* — драгоценный камень, шпинель.
- с. 329 *Сотери* — французское белое виноградное вино.
- с. 329 *Ноппарель* — мелкий типографский шрифт.
- с. 331 *Церера* — в римской мифологии богиня земледелия и плодородия.
- с. 331 *Одиссея* — древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру, о странствиях и приключениях Одиссея.
- с. 332 *Талокниов Борис Олегович* (р. 1932) — врач.
- с. 350 *19 октября* — день открытия Царскосельского лицея, ежегодно отмечавшийся его выпускниками.
- с. 350 *«Пасынок аллея»* — А.С. Пушкин.
- с. 351 *Куницын Александр Петрович* (1783—1840) — адъюнкт-профессор нравственных и политических наук в Царскосельском лицее.
- с. 351 *Переделкинский изгнанник* — поэт Борис Леонидович Пастернак (1890—1960). 23 октября 1958 г. было объявлено о присуждении ему Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго». Это сообщение послужило началом беспрецедентной по масштабам травли поэта.
- с. 351 *«Простил ученикам своим»* — студенты Литературного института Ю. Панкратов и И. Харабаров, посетив Б.Л. Пастернака в Переделкине, рассказали ему о том, что, если они не подпишут письмо с требованием высылки поэта из России, их исключат из института, и спросили, как им быть. Эпизод описан в воспоминаниях О.В. Ивинской (М., 1992).

с. 352 *«Страдалец, погребенный в Ницце»* — Александр Иванович Герцен (1812—1870), революционер, писатель, философ.

с. 353 *Искандер Фазиль Абдулович* (р. 1929) — поэт, прозаик.

с. 354 *Пуштин Иван Иванович* (1798—1859), *Кюхельбекер Вильгельм Карлович* (1797—1846), *Дельвиг Антон Антонович* (1798—1831) — лицейские товарищи А.С. Пушкина.

с. 354 *Девочка Лизетта* — Елизавета, дочь Б. Ахмадулиной, студентка Литературного института.

с. 355 *Пизанская* («падающая») *башня* — кампанила (башня-колокольня) в итальянском городе Пиза, построенная в XII—XIV вв.

с. 355 *«Потемки, где сокрыт католик, / крестом пометил гугенот»* — имеются в виду события т.н. Варфоломеевской ночи, когда 24 августа 1572 г. в Париже в ночь под праздник Св. Варфоломея католики произвели массовую резню гугенотов.

с. 356 *«Бог помочь вам, друзья мои!»* — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина «19 октября 1827».

с. 356 *Паризи Эварист* (1753—1814) — французский поэт, один из зачинателей «легкой поэзии».

с. 359 *Мичуринец, Переделкино* — соседние дачные подмосковные поселки.

с. 359 *«рожденный в городе Козлове»* — Мичурин Иван Владимирович (1855—1935), биолог и селекционер.

с. 359 *«преlestная коза»* — выражение из рассказа И.А. Бунина «Ночной разговор» (1911).

с. 360 *Пиаф* (наст. фамилия Гасьон) *Эдит* (1915—1963) — французская эстрадная певица.

с. 360 *«та, что должна быть глуповата»* — усеченная цитата из письма А.С. Пушкина к П.А. Вяземскому (вторая половина мая 1826 г. из Михайловского): «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах извини: Счастливице) слишком умны. — А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».

с. 368 *Цветастый азиатский храм* — собор Покрова «что на рву» (храм Василия Блаженного) на Красной площади в Москве был сооружен в честь взятия Казани Иваном Грозным.

с. 374 *Вознесенский Андрей Андреевич* (р. 1933) — поэт.

с. 378 *Неруда Пабло* (Нефтали Рикардо Рейес Басоальто) (1904—1973) — чилийский поэт, дипломат. Автор стихотворения «Погодите, хочу поцеловать на прощанье...», обращенного к Б. Ахмадулиной.

с. **379** *Каландадзе Анна Павловна* (р. 1924) — грузинская поэтесса. В переводах Б. Ахмадулиной издана ее книга «Летите, листья» (Тбилиси: Заря Востока, 1959).

с. **380** *Хашиная* — небольшой ресторан, трактир, где подают хаши.

с. **380** *Галактион* — Табидзе Галактион Васильевич (1892—1959), грузинский поэт.

с. **382** *Маргвелашвили Лия* (Георгий Георгиевич) (1923—1989) — грузинский критик, литературовед, переводчик.

с. **384** *Терек* — река на Северном Кавказе, впадающая в Каспийское море.

с. **384** *Шота* — Шота Руставели, грузинский поэт XII в., автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре».

с. **384** *Важа* — Важа Пшавела (Лука Павлович Разикашвили) (1861—1915), грузинский поэт.

с. **385** *Уиба* — двуглавая труднодоступная горная вершина в Верхней Сванетии, с ней связано много легенд.

с. **385** *Гмерто* (груз.) — Бог, Боже (как обращение).

с. **386** *Лия и Шура* — Г. Маргвелашвили и А. Цыбулевский. Цыбулевский Александр Семенович (1928—1975) — поэт, прозаик, литературовед.

с. **389** *Сестры* Елена, Евгения и Мария Фабиановны Гнесины в 1895 г. основали музыкальную школу в Москве.

с. **389** *Порфиноносный* — носящий порфиру — длинную пурпуровую мантию; царственный.

с. **395** *Судакевич Анель Алексеевна* (р. 1906) — актриса немого кино, художник по костюмам. Мать Б.А. Мессерера.

с. **397** *Вергилий Марон Публий* (70—19 до н.э.) — римский поэт. В «Божественной комедии» Данте Вергилий (символ земного разума) руководит странствием поэта по аду и чистилищу.

с. **398** *Голгофа* — холм в окрестностях Иерусалима, на котором, по христианскому преданию, был распят Иисус Христос.

с. **423** *Елисеевы* — владельцы фирмы, державшей в Петербурге, Москве и Киеве магазины по торговле винами и колониальными товарами. С 1892 г. единоличным владельцем фирмы стал Г.Г. Елисеев (1858—1942), открывший так называемые «елисеевские» магазины.

с. **423** *Сергея* — Эфрон Сергей Яковлевич (1893—1941), литератор, муж М.И. Цветаевой.

с. **427** *Кушнер Александр Семенович* (р. 1936) — поэт.

- с. 427 *Гагра* — город-курорт в Абхазии на берегу Черного моря.
- с. 430 *Нейгауз Генрих Густавович* (1888—1964) — пианист, педагог.
- с. 432 *Нейгауз Станислав Генрихович* (1927—1980) — пианист, педагог.
- с. 434 *«Вестник Европы»* — журнал, основанный Н.М. Карамзиным. Выходил в Москве с 1802 по 1830 г.
- с. 439 *Опочка* — город-крепость на реке Великая (Псковская обл.).
- с. 439 *Тверь* — один из политических и культурных центров Руси.
- с. 443 *Литецк* — город на реке Воронеж. Возник на месте поселения при заводах по выплавке чугуна и стали и производству пушек, построенных по указанию Петра I.
- с. 444 *Чиладзе Отар Иванович* (р. 1933) — грузинский поэт, прозаик.
- с. 444 *Чиладзе Тамаз Иванович* (р. 1931) — грузинский поэт, прозаик.
- с. 444 *Тициан* — Табидзе Тициан Юстинович (1895—1937), грузинский поэт.
- с. 444 *Мацони* (груз.) — специальным образом приготовленное кислое молоко.
- с. 444 *Мацонищик* — продавец мацони.
- с. 444 *Хабази* (груз.) — пекарь.
- с. 444 *Пиросманишвили Николоз (Нико Пиросмани)* (1862?—1918) — грузинский художник-самоучка.
- с. 446 *Эпиграф* — начальная строка стихотворения О. Мандельштама.
- с. 447 *Искандер Фазиль Абкулавич* (р. 1929) — поэт, прозаик.
- с. 449 *Убыхи* — народ, родственный по языку, культуре и быту абхазам и адыгам. До 1864 г. жили на Кавказском побережье Черного моря, затем переселились в Турцию, где постепенно ассимилировались турецким населением.
- с. 451 *Эшери (Эшера)* — селение в Абхазии, недалеко от Сухуми.
- с. 452 *Чернышева Антонина Александровна* (р. 1922) — художник. Жена Ю.Д. Королева.
- с. 454 *Дадашидзе Илья Юрьевич* (р. 1942) — поэт, переводчик.
- с. 454 *Эдисон*, Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель.
- с. 458 *Октября девятнадцатый день* — день открытия Царскосельского лицея, ежегодно отмечаемый его выпускниками.

с. 458 *Кюхля* — Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846), поэт, декабрист, друг А.С. Пушкина.

с. 460 Впервые опубликовано в «Литературной газете» в подборке материалов к 150-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

с. 461 «*И верится, и плачется, /И так легко, легко...*» — заключительные строки стихотворения М.Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).

с. 461 «*Но не тем холодным сном могилы...*» — строка из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

с. 461 «*Пуškai она поплачет... / Ей ничего не значит!*» — заключительные строки стихотворения М.Ю. Лермонтова «Завещание» (1840).

с. 461 *Святогорский* (Успенский) *монастырь* в поселке Пушкинские Горы, там находится могила А.С. Пушкина.

с. 462 *Пятигорск* — город на Северном Кавказе, в районе Кавказских минеральных вод, тесно связанный с именем М.Ю. Лермонтова.

с. 462 *Мцхетский храм* — Свети-Цховели, кафедральный собор в Мцхета, построенный в начале XI в.

с. 463 Впервые опубликовано в журнале «Литературная Грузия» (1965, № 7).

с. 465 *Царскосельский парк*. Царское Село (ныне г. Пушкин) — летняя резиденция российских императоров. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль тесно связан с русской поэзией — от А.С. Пушкина до поэтов «серебряного века».

с. 466 *Тригорское* — принадлежавшее П.А. Осиповой имение в Псковской губернии, по соседству с Михайловским.

с. 466 *Квартира на Мойке* — последняя петербургская квартира А.С. Пушкина.

с. 471 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 8 февраля 1967 г.

с. 475 *Парфенон* — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой высокой классики.

с. 476 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 4 июня 1969 г.

с. 477 «*Подъезжая под Ижоры...*» — начальные строки стихотворения А.С. Пушкина (1829), обращенного к Екатерине Васильевне Вельяшевой (1813—1865), двоюродной сестре *Алексея Николаевича*

ча Вульфа (1805—1881), помещика села Тригорского, близкого друга поэта. *Ижоры* — ближайшая к Петербургу почтовая станция на Московской дороге.

с. 477 *Осиповы-Вульф* — семейство Прасковьи Александровны Осиповой (урожд. Вындомская, в первом браке Вульф) (1781—1859), помещицы села Тригорского, имевшей 5 детей от первого и 2 от второго брака. Все это семейство состояло в приятельских отношениях с А.С. Пушкиным.

с. 478 *Гейченко Семен Степанович* (1903—1993) — писатель, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

с. 479 Впервые опубликовано в «Литературной газете» 5 июня 1974 г.

с. 480 *Соротъ* — река в Михайловском (см. с. 40).

с. 481 *Данзас* Константин Карлович (1801—1870) — лицейский товарищ А.С. Пушкина, секундант в его дуэли с Дантесом.

с. 484 Записано на грампластинке в журнале «Кругозор» (1987, № 5).

с. 485 «*Слова Мандельштама*» — «...Смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено». (О. Мандельштам. Скрябин и христианство. — «Русская литература», 1991, № 1).

Содержание

Поэзия

Сад	3
Владимиру Высоцкому	5
Рига	10
«Лакомка-неженка-Юрмала...»	12
Ладыжино	14
Вослед 27-му дню февраля	16
Игры и шалости	19
Радость в Тарусе	21
Ревность пространства. 9 марта	24
Милость пространства. 10 марта	26
Строгость пространства. 11 марта	29
Кофейный чертик	31
День: 12 марта 1981 года	33
Рассвет	36
Непослушание вещей	37
Свет и туман	39
Луна до утра	41
Утро после луны	45
Вослед 27-му дню марта	47
Возвращение в Тарусу	50
Преппирательства и примирения	51
Черемуха	55
Черемуха трехдневная	58
«Есть тайна у меня от чудного цветенья...»	61
Черемуха предпоследняя	63

Ночь упаданья яблок	67
Февральское полнолуние	69
Гусиный паркер	72
Род занятий	75
Прогулка	81
Лебедин мой	83
Палец на губах	87
Сиреневое блюдо	91
День-Рафаэль	93
Сад-всадник	94
Смерть совы	97
Гребенников здесь жил... ..	100
Печали и шуточки: комната	104
«Воздух августа: плавность усад и услуг...»	109
Забывший мяч	110
«Я лишь объём, где обитает что-то...»	112
Звук указующий	114
Ночь на тридцатое марта	115
«Зачем он ходит? Я люблю одна...»	117
«Я встала в шесть часов. Виднелась тьма во тьме...»	121
Луне от ревнивца	122
Пашка	125
Пачёвский мой	127
«Мне Звёздкин говорил, что он в меня влюблен...»	129
Ночь на 30-е апреля	131
Суббота в Тарусе	133
Друг столб	136
«Как много у маленькой музыки этой...»	138
Смерть Французова	140
Цветений очерёдность	142
Скончание черемухи — 1	144
«Быть по сему: оставьте мне...»	146
Скончание черемухи — 2	148
«Отселева за тридцать земель...»	150
29-й день февраля	152
«Дорога на Паршино, дале — к Тарусе...»«	155
Шум тишины	156
Люблю ночные промедленья...»	158

Посвящение	161
«Ровно полночь, а ночь пребывает в изгоях...»	163
«Когда жалела я Бориса...»	167
«Был вход возбранён. Я не знала о том и вошла...»	170
«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть...»	172
Ночь на 6 июня	174
«Какому ни предамся краю...»	176
«Бессмертьем душу обольщая...»	180
Стена	183
«Чудовищный и призрачный курорт...»	186
«Такая пала на душу метель...»	189
«Взамен элегий — шуточки, сарказмы...»	192
Постой	195
«Всех обожании бедствие огромно...»	197
Дом с башней	198
«Темнеет в полночь и светает вскоре...»	202
«Завидев дом, в испуге безъязыком...»	204
Побережье	206
Поступок розы	210
Гряда камней	213
«Этот брег — только бред двух схватившихся зорь...»	220
«Ночь: белый сонм колонн надводных. Никого нет...»	222
«Мне дан июнь холодный и пространный...»	223
Шестой день июня	225
Черемуха белоночная	228
«Не то, чтоб я забыла что-нибудь...»	231
«Здесь никогда пространство не игриво...»	233
«Под горой — дом-горюн, дом-горыныч живет...»	234
«Я — лишь горы моей подножье...»	236
«Где Питкяранта? Житель питкярантский...»	238
Ночное	241
«Вся тьма — в отсутствии, в опале...»	243
«Лапландских летних льдов недалёкая граница...»	247
«Всё шхеры, фиорды, ущельных существ...»	249
«Так бел, что опалает веки...»	252
«Лишь июнь Сортавальские воды согрел...»	255
«То ль потому, что ландыш пожелтел...»	258
«Сверканье блёсен, жалобы уключин...»	260
«Вошла в лиловом в логово и в лоно...»	263

«Пора, прощай моя скала...»	267
«Сирень, сирень — не кончилась бы худом...»	270
Недуг	274
«— Что это, что? — Спи, это жар во лбу...»	284
Ёлка в больничном коридоре	286
«Поздней весны польза-обнова...»	289
Ивановские припевки	291
«Хожу по околицам дюжей весны...»	295
Пригород: названья улиц	300
«Тому назад два года, но в июне...»	303
«Постоялец вникает в реестр проявлений...»	306
«Так запрокинут лоб, отозванный от яви...»	308
Ларец и ключ	309
Дворец	312
Гроза в Малеевке	316
Венеция моя	319
Одевание ребенка	322
Портрет, пейзаж и интерьер	325
Вокзальчик	329
Вид снизу вверх	332
Наслаждения в Куоккале	333
19 октября 1996 года	350
Надпись на книге: 19 октября	353
Поездка в город	357
Чужая машинка	362
Два гепарда	364
«Я завидую ей — молодой...»	365
«Пришла. Стоит. Ей восемнадцать лет...»	367
Воспоминание	368
«Какое блаженство, что блещут снега...»	370
Февраль без снега	371
«За что мне всё это? Февральской теплоты подарки...»	374
«Стихотворения чудный театр...»	376
Запоздалый ответ Пабло Неруде	378
Анне Каландадзе	379
«Я столько раз была мертва...»	382
«Помню — как вижу, зрачки затемню...»	384
«Я знаю, всё будет: архивы, таблицы...»	386
Москва ночью при снегопаде	387

«Я школу Гнесиных люблю...»	389
Луна в Тарусе	392
«Деревни Бёхово крестьянин...»	394
Путник	395
Приметы мастерской	397
Стихи к симфониям Гектора Берлиоза	399
Ромео и Джульетта	399
Фантастическая симфония	407
«Вот не такой, как двадцать лет назад...»	417
Таруса	419
Путешествие	424
Роза	427
Памяти Генриха Нейгауза	430
Переделкино после разлуки	432
Письмо Булату из Калифорнии	434
Шуточное послание к другу	436
Ленинград	438
«Не добела раскалена...»	440
Возвращение из Ленинграда	441
«Петра там нет. Не эту же великость...»	443
Тифлис	444
«То снился он тебе, а ныне ты — ему...»	446
Гагра: кафе «Рица»	447
«Пришелец, этих мест название: курорт...»	449
«Как холодно в Эшери и как строго...»	451
Бабочка	452
«Смеркается в пятом часу, а к пяти...»	454
«Мы начали вместе: рабочие, я и зима...»	457

Проза

Миг его зрения	460
Пушкин. Лермонтов	463
Встреча	471
Вечное присутствие	476
Чудная вечность	479
Слово о Пушкине	484
Комментарии	487
Содержание	507

Литературно-художественное издание

Ахмадулина Белла Ахатовна

НОЧЬ УПАДАНЬЯ ЯБЛОК

Автор-составитель *Б.А. Мессерер*

Редактор *В.Б. Парадовская*

Компьютерная верстка *И.В. Соколова*

Корректор *И.Ю. Босова*

Подписано в печать 25.01.10. Формат 84×108¹/₃₂.
Усл. печ. л. 26,88. Тираж 3000 экз. Заказ № 376

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ООО «Издательство Астрель»
129085, г. Москва, проезд Ольминского, 3а

ООО «Агентство «КРПА Олимп»
115191, Москва, а/я 98
www.rus-olimp.ru
E-mail: olimpus06@rambler.ru

Издание осуществлено при техническом участии
ООО «Издательство АСТ»

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «ИПП «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru

Творчество Беллы Ахмадулиной стало одним из самых ярких и значительных явлений в русской словесности.

Интерес к ее поэзии с годами не ослабевает, и уже сейчас очевидно, что она – один из крупнейших русскоязычных поэтов конца XX – начала XXI столетия.

Во вторую книгу трехтомника вошли стихотворения разных лет, такие поэмы, как «Недуг», «Стихи к симфониям Гектора Берлиоза» и «Наслаждения в Куоккале», поэтические посвящения Николаю Гумилеву, Василию Аксенову, Владимиру Высоцкому, а также прозаические произведения.